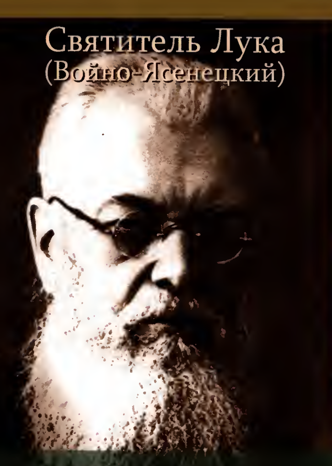
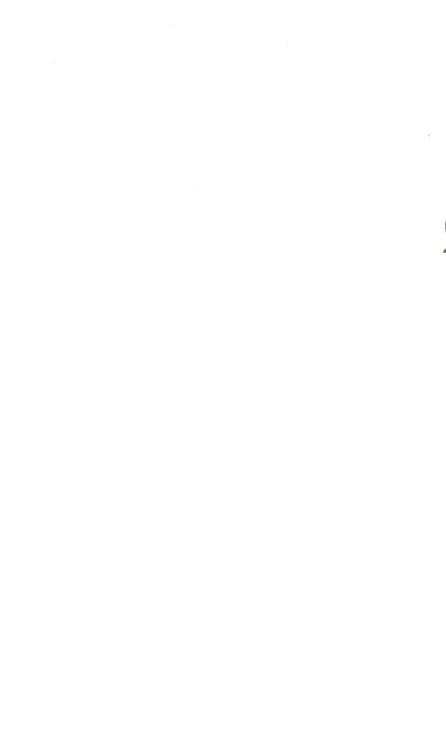
Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)



Я ПОЛЮБИЛ СТРАДАНИЕ

Автобиография,
Акафист святителю Луке



Архиепископ

Лука (Войно-Ясенецкий)

Я полюбил страдания

Автобиография



Акафист

святителю Луке, исповеднику,
Архиепископу Крымскому



Москва 2010

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви
ИС 10-16-1598

Художественное оформление: Владимир Панкратов
Компьютерное макетирование: Юлия Стоянова

Архиепископ Лука (ВойноЯсенецкий).
Я полюбил страдания. Автобиография. Акафист святителю Луке, исповеднику, Архиепископу Крымскому. – М: ОБРАЗ, 2010. – 128 с.



ЮНОСТЬ

Мой отец был католиком, весьма набожным, он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми. В нашей православной семье он, как католик, был несколько отчужден.

Мать усердно молилась дома, но в церковь, повидимому, никогда не ходила. Причиной этого было ее возмущение жадностью и ссорами священников, происходившими на ее глазах. Два брата мои — юристы — не проявляли признаков религиозности. Однако они всегда ходили к выносу Плащаницы и целовали ее, и всегда бывали на Пасхальной утрени. Старшая сестра курсистка, потрясенная ужасом катастрофы на Ходынском поле, психически заболела и выбросилась из окна третьего этажа, получив тяжелые переломы бедра и плечевой кости и разрывы почек, от этого впоследствии образовались почечные камни, от которых она умерла, прожив только двадцать пять лет. Младшая сестра,

доселе здравствующая, прекрасная и очень благочестивая женщина.

Религиозного воспитания я в семье не получил, и, если можно говорить о наследственной религиозности, то, вероятно, я ее наследовал главным образом от очень набожного отца.

С детства у меня была страсть к рисованию, и одновременно с гимназией я окончил Киевскую художественную школу, в которой проявил немалые художественные способности, участвовал в одной из передвижных выставок небольшой картинкой, изображавшей старика-нищего, стоящего с протянутой рукой. Влечение к живописи у меня было настолько сильным, что по окончании гимназии решил поступать в Петербургскую Академию Художеств.

Но во время вступительных экзаменов мной овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли жизненный путь я избираю. Недолгие колебания кончились решением, что я не в праве заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Из Академии я послал матери телеграмму о желании поступить на медицинский факультет, но все вакансии уже были заняты, и мне предложили поступить на естественный факультет, с тем чтобы после перейти на медицинский. От этого я отказался, так как у меня была большая нелюбовь к естественным наукам, ярко выраженный интерес к наукам гуманитар-



ным, в особенности к богословию, философии и истории. Поэтому я предпочел поступать на юридический факультет и в течение года с интересом изучал историю и философию права, политическую экономию и римское право.

Но через год меня опять неодолимо повлекло к живописи. Я отправился в Мюнхен, где поступил в частную художественную школу профессора Книрр. Однако уже через три недели тоска по родине неудержимо повлекла меня домой, я уехал в Киев и еще год с группой товарищей усиленно занимался рисованием и живописью.

В это время впервые проявилась моя религиозность. Я каждый день, а иногда и дважды в день ездил в Киево-Печерскую Лавру, часто бывал в киевских храмах и, возвращаясь оттуда, делал зарисовки того, что видел в Лавре и храмах. Я сделал много зарисовок, набросков и эскизов молящихся людей, лаврских богомольцев, приходивших туда за тысячу верст, и тогда уже сложилось то направление художественной деятельности, в котором я работал бы, если бы не оставил живописи. Я пошел бы по дороге Васнецова и Нестерова, ибо уже ярко определилось основное религиозное направление в моих занятиях живописью. К этому времени я ясно понял процесс художественного творчества. Повсюду: на улицах и в трамваях, на площадях и базарах — я наблюдал все ярко выраженные черты лиц, фигур, движений и по возвра-

щении домой все это зарисовывал. На выставке в Киевской художественной школе получил премию за эти свои наброски.

Для отдыха от этой работы я каждый день ходил версты за две по берегу Днепра, по дороге усиленно размышляя о весьма трудных богословских и философских вопросах. Из этих размышлений моих, конечно, ничего не вышло, ибо я не имел никакой научной подготовки.

В это же время я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого и стал, можно сказать, завзятым толстовцем: спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Однако мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение "В чем моя вера", резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой – еретик, весьма далекий от подлинного христианства.

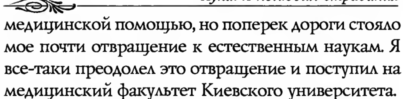
Правильное представление о Христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который, по доброму старому обычаю, я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости как напутствие в жизнь. Очень многие места этой Святой Книги, сохранявшейся у меня десятки лет, произвели на меня глубочайшее впечатление. Они были отмечены красным карандашом.



Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им: Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою [Мф. 9;37]. У меня буквально дрогнуло сердце, я молча воскликнул: «О Господи! Неужели у Тебя мало делателей?!» Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву Свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение Ему.

Так прошел этот довольно странный год. Можно было бы поступить на медицинский факультет, но опять меня взяло раздумье народнического порядка, и по юношеской горячности я решил, что нужно как можно скорее приняться за полезную практическую для простого народа работу. Бродили мысли о том, чтобы стать фельдшером или сельским учителем, и в этом настроении я однажды отправился к директору народных училищ Киевского учебного округа с просьбой устроить меня в одну из школ. Директор оказался умным и проницательным человеком: он хорошо оценил мои народнические стремления, но очень энергично меня отговаривал от того, что я затевал, и убеждал поступить на медицинский факультет.

Это соответствовало моим стремлениям быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных


медицинской помощью, но поперек дороги стояло мое почти отвращение к естественным наукам. Я все-таки преодолел это отвращение и поступил на медицинский факультет Киевского университета.

Когда я изучал физику, химию, минералогию, у меня было почти физическое ощущение, что я насильно заставляю мозг работать над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резиновый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содержание. Тем не менее, я учился на одни пятерки и неожиданно чрезвычайно заинтересовался анатомией. Изучал кости, рисовал и дома лепил их из глины, а своей препаровкой трупов сразу обратил на себя внимание всех товарищей и профессора анатомии. Уже на втором курсе мои товарищи единогласно решили, что я буду профессором анатомии, и их пророчество сбылось. Через двадцать лет я действительно стал профессором топографической анатомии и оперативной хирургии.

На третьем курсе я страстно увлекся изучением операций на трупах. Произошла интересная эволюция моих способностей: умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии и тонкую художественную работу при анатомической препаровке и при операциях на трупах. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии.

На третьем курсе я неожиданно был избран старостой. Это случилось так: перед одной лекцией


я узнал, что один из товарищей по курсу — поляк ударил по щеке другого товарища — еврея. По окончании лекции я встал и попросил внимания. Все примолкли. Я произнес страстную речь, обличавшую безобразный поступок студента-поляка. Я говорил о высших нормах нравственности, о перенесении обид, вспомнил великого Сократа, спокойно отнесшегося к тому, что его сварливая жена вылила ему на голову горшок грязной воды. Эта речь произвела столь большое впечатление, что меня единогласно избрали старостой.

Государственные экзамены я сдавал блестяще, на одни пятерки, и профессор общей хирургии сказал мне на экзамене: «Доктор, вы теперь знаете гораздо больше, чем я, ибо вы прекрасно знаете все отделы медицины, а я уж многое забыл, что не относится прямо к моей специальности».

Только на экзамене по медицинской химии (теперь она называется биохимией) я получил тройку. На теоретическом экзамене я отвечал отлично, но надо было сделать еще исследование мочи. Как это, к сожалению, было в обычае, служитель лаборатории за полученные от студентов деньги рассказал, что надо найти в первой колбе и пробирке, и я знал, что в моче, которую мне предложили исследовать, есть сахар. Однако благодаря маленькой ошибке троммеровская реакция у меня не вышла, и, когда профессор, не глядя на меня, спросил: «Ну, что вы там нашли?» — я мог бы сказать, что нашел

сахар, но сказал, что троммеровская реакция сахара не обнаружила.

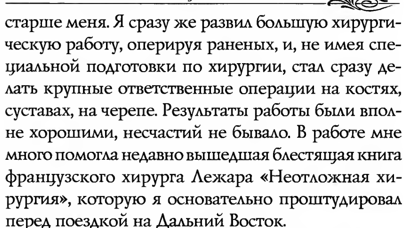
Эта единственная тройка не помешала мне получить диплом лекаря с отличием.

Когда все мы получили дипломы, товарищи по курсу спросили меня, чем я намерен заняться. Когда я ответил, что намерен быть земским врачом, они с широко открытыми глазами сказали: «Как, Вы будете земским врачом?! Ведь Вы ученый по призванию!» Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям.

РАБОТА В ЗЕМСКИХ БОЛЬНИЦАХ

Сразу стать земским врачом мне не пришлось, так как я окончил университет осенью 1903 года, перед самым началом войны с Японией; и началом моей медицинской работы была военно-полевая хирургия в госпитале Киевского Красного Креста возле города Читы.

В нашем госпитале было два хирургических отделения: одним заведовал опытный одесский хирург, а другое главный врач отряда поручил мне, хотя в отряде были еще два хирурга значительно



старше меня. Я сразу же развил большую хирургическую работу, оперируя раненых, и, не имея специальной подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные ответственные операции на костях, суставах, на черепе. Результаты работы были вполне хорошими, несчастий не бывало. В работе мне много помогла недавно вышедшая блестящая книга французского хирурга Лежара «Неотложная хирургия», которую я основательно проштудировал перед поездкой на Дальний Восток.

Я не был кадровым врачом и военной формы никогда не носил.

В Чите я женился на сестре милосердия, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где ее называли святой сестрой. Она покорила меня не столько своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет девства. Выйдя за меня замуж, она нарушила этот обет, и в ночь перед нашим венчанием в церкви, построенной декабристами, она молилась перед иконой Спасителя, и вдруг ей показалось, что Христос отвернул Свой лик и образ Его исчез из киота. Это было, по-видимому, напоминанием об ее обете, и за нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью.

Мы уехали из Читы до окончания войны, и я поступил врачом в Ардатовское земство Симбирской губернии. Там мне пришлось заведовать город-

ской больницей. В трудных и неприглядных условиях я сразу стал оперировать по всем отделам хирургии и офтальмологии[1]. Однако через несколько месяцев мне пришлось отказаться от работы в Ардатове ввиду ее невыносимой трудности.

Надо отметить, что в ардатовской больнице я сразу столкнулся с большими трудностями и опасностями применения общего наркоза при плохих помощниках, и уже там у меня возникла мысль о необходимости, по возможности, избегать наркоза и как можно шире заменять его местной анестезией. Я решил перейти на работу в маленькую больницу и нашел такую в селе Верхний Любаж Фатежского уезда Курской губернии. Однако и там было не легче, ибо в маленькой участковой больнице на десять коек я стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что ко мне пошли больные со всех сторон, и из других уездов Курской губернии и соседней, Орловской.

Вспоминаю курьезный случай, когда молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи, и все они длинной вереницей пришли ко мне, ведя друг друга за палки и чая исцеления.

В это время вышла первым изданием книга профессора Брауна «Местная анестезия, ее научное

[1]Офтальмология – раздел медицины, изучающий болезни глаза.



обоснование и практические применения». Я с жадностью прочел ее и из нее впервые узнал о регионарной анестезии, немногие методы которой весьма недавно были опубликованы. Я запомнил, между прочим, что осуществление регионарной анестезии седалищного нерва Браун считает едва ли возможным. У меня возник живой интерес к регионарной анестезии, я поставил себе задачей заняться разработкой новых методов ее.

В Любаже мне встретилось несколько редких и весьма интересных хирургических случаев, и о них я там же записал две мои первые статьи: «Элефантиаз лица, плексиформная неврома» и другую — «Ретроградное ущемление при грыже кишечной петли».

Чрезмерная слава сделала мое положение в Любаже невыносимым. Мне приходилось принимать амбулаторных больных, приезжавших во множестве, и оперировать в больнице с девяти часов утра до вечера, разъезжать по довольно большому участку и по ночам исследовать под микроскопом вырезанное при операции, делать рисунки микроскопических препаратов для своих статей, и скоро не стало хватать для огромной работы и моих молодых сил.

Заслуживает упоминания и моя первая трахеотомия[2], сделанная в совершенно исключительных условиях. Я приехал для осмотра земской школы в

[2]Трахеотомия — вскрытие трахеи и введение в ее просвет специальной трубки для восстановления дыхания.


недалекую от Любажа деревню. Занятия уже кончились. Неожиданно прибежала в школу девочка, неся в руках совершенно задыхающегося ребенка. Он поперхнулся маленьким кусочком сахара, который попал ему в гортань. У меня был только перочинный ножик, немного ваты и немного раствора сулемы. Тем не менее, я решил сделать трахеотомию и попросил учительницу помочь мне. Но она, закрыв глаза, убежала. Немного храбрее оказалась старуха-уборщица, но и она оставила меня одного, когда я приступил к операции. Я положил спеленутого ребенка к себе на колени и быстро сделал ему трахеотомию, протекшую как нельзя лучше, вместо трахеотомической трубки я ввел в трахею гусиное перо, заранее приготовленное старухой. К сожалению, операция не помогла, так как кусочек сахара застрял ниже — по-видимому, в бронхе.

Земской управой я был переведен в уездную Фатежскую больницу, но и там недолго пришлось мне поработать. Фатежский уезд был гнездом самых редких зубров-черносотенцев[3]. И самым крайним из них был председатель земуправы Батезатул, задолго до войны прославившийся своим законопроектом о принудительной эмиграции в Россию китайских крестьян для передачи их в рабство помещикам.

[3]Редакция, стремясь по возможности сохранить подлинный текст воспоминаний, не всегда разделяет взгляды автора.



Батезатул счел меня революционером за то, что я не отправился немедленно, оставив все дела, к заболевшему исправнику, и постановлением управы я был уволен со службы. Это, однако, не обошлось благополучно. В базарный день один из вылеченных мной слепых влез на бочку, произнес зажигательную речь по поводу моего увольнения, и под его предводительством толпа народа пошла громить земскую управу, здание которой находилось на базарной площади. Там был только один член управы, от страха залезший под стол. Мне, конечно, пришлось поскорее уехать из Фатежа. Это было в 1909 году.

В 1907 году в Любаже родился мой первенец — Миша. А в следующем, 1908 году родилась моя дочь Елена. Должность акушерки мне пришлось исполнять самому. Из Фатежа я уехал в Москву и там немного менее года был экстерном хирургической клиники профессора Дьяконова. По правилам этой клиники всё врачи-экстерны должны были писать докторскую диссертацию, и мне предложена была тема «Туберкулез коленного сустава». Через две-три недели меня пригласил профессор Дьяконов и спросил, как идет работа по диссертации. Я ответил, что уже прочел литературу, но у меня нет интереса к этой теме. Умный профессор с глубоким вниманием отнесся к моему ответу и, когда узнал, что у меня есть собственная моя тема, с живым интересом стал расспрашивать о ней. Оказалось, что

он ничего не знает о регионарной анестезии, и мне пришлось рассказывать ему о книге Брауна. К моей радости, он предложил мне продолжать работу над регионарной анестезией, оставив предложенную тему.

Так как моя тема требовала анатомических исследований и опытов с инъекциями окрашенной желатины на трупах, то мне пришлось перейти в Институт топографической анатомии и оперативной хирургии, директором которого был профессор Рейн, председатель Московского хирургического общества. Но оказалось, что и он не слышал и ничего не читал о регионарной анестезии.

Скоро мне удалось найти простой и верный способ инъекции и к седалищному нерву у самого выхода его из полости таза, что Генрих Браун считал вряд ли разрешимой задачей. Нашел я и способ инъекции к срединному нерву и регионарной анестезии всей кисти руки. Об этих моих открытиях я сделал доклад в Московском хирургическом обществе, и он вызвал большой интерес.

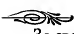
Но не на что мне было жить в Москве с женой и двумя маленькими детьми, и я должен был уехать в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии работать в больнице на двадцать пять коек, где развил большую хирургическую работу и напечатал отчет о ней отдельной книжкой по образцу отчетов клиники профессора Дьяконова. Работу над регионарной анестезией я продолжал в


Москве во время ежегодных месячных отпусков, работая с утра до вечера в Институте профессора Рейна и профессора Карузина при кафедре описательной анатомии. Здесь я исследовал триста черепов и нашел очень ценный способ инъекции ко второй ветви тройничного нерва у самого выхода из форамен ротундум[4]. К концу этой работы я уже не был в Романовке, а состоял главным врачом и хирургом уездной больницы на пятьдесят коек в Переславле-Залесском.

В 1916 году, живя в Переславле, я защитил в Москве докторскую диссертацию о регионарной анестезии. Оппонентами были профессор Мартынов, приват-доцент топографической анатомии и оперативной хирургии, фамилии которого не помню, и профессор Карузин.

Интересен был отзыв профессора Мартынова. Он сказал: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших назначений по службе и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил ее». А профессор Карузин, очень взволнованный, подбежал ко мне и, потрясая мою руку, усердно просил прощения в том, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранятся черепа, и не подозревал, что там создается такая блестящая работа.

[4]Круглое отверстие (лат.)



За свою диссертацию я получил от Варшавского университета крупную премию имени Хойнацкого в девятьсот рублей золотом, предназначавшуюся «за лучшие сочинения, пролагающие новый путь в медицине». Однако денег этих мне не пришлось получить, потому что книга была напечатана небольшим тиражом, только в семьсот пятьдесят экземпляров, и быстро распродана в книжных магазинах, куда я неосторожно разослал их, и я не мог представить в Варшавский университет требуемого количества экземпляров.

У земского врача, каким я был тринадцать лет, воскресные и праздничные дни самые занятые и обремененные огромной работой. Поэтому я не имел возможности ни в Любаже, ни в Романовке, ни в Переславле-Залесском бывать на богослужениях в церкви и многие годы не говел. Однако в последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом нашел возможность бывать в соборе, где у меня было свое постоянное место, и это возбудило большую радость среди верующих Переславля.

Было еще одно великое событие в моей жизни, начало которому Господь положил в Переславле.

С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Любаже и Романовке я ясно понял, как огромно значение гнойной хирургии и как мало знаний о ней вынес я из университета. Я поставил своей задачей глубокое самостоятельное изучение

диагностики и терапии гнойных заболеваний. В конце моего пребывания в Переславле пришло мне на мысль изложить свой опыт в особой книге — «Очерки гнойной хирургии». Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайне странная неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

Быть священнослужителем, а тем более епископом мне и во сне не снилось, но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу уже когда мы во чреве матери. Как увидите дальше, уже через несколько лет стала полной реальностью моя неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

В Переславле-Залесском мы прожили шесть с половиной лет. Там родился мой младший сын Валентин.

В городской и фабричной больницах я развил очень широкую хирургическую работу и был одним из пионеров в новых тогда крупнейших операциях на желчных путях, желудке, селезенке и даже на головном мозге. Кроме того, я в 1915—1916 годах заведовал небольшим госпиталем для раненых.

В начале 1917 года к нам приехала старшая сестра моей жены, только что похоронившая в Крыму свою молоденькую дочь, умершую от скоротечной чахотки. На великую беду, она привезла с собой ватное одеяло, под которым лежала ее больная дочь. Я

говорил своей жене Ане, что в одеяле привезена к нам смерть. Так и случилось: сестра Ани прожила у нас всего недели две, и вскоре после ее отъезда я обнаружил у Ани явные признаки туберкулеза легких.

Это совпало с тем временем, когда я по объявлению в газете при очень большом конкурсе получил приглашение в Ташкент на должность хирурга и главного врача большой городской больницы. С нами ехала девушка-прислуга, недавно родившая ребенка. На полдороге от Переславля до Москвы пришлось остановиться на неделю в гостинице Троице-Сергиевой Лавры вследствие высокой лихорадки у Ани. Поездка на поезде в Москву и дальнейший путь до Ташкента с малыми детьми были крайне трудными, так как было уже сильно расстроено железнодорожное движение.

В Ташкенте у нас была отличная квартира главврача при больнице, пять комнат, в которых, однако, мне самому нередко приходилось мыть полы из-за неизбежного при революции расстройства жизни. В 1919 году в городе происходила междоусобная война между гарнизоном ташкентской крепости и полком туркменских солдат под предводительством изменившего революции военного комиссара. Через весь город над самой больницей летели с обеих сторон во множестве пушечные снаряды, и под ними мне приходилось ходить в больницу.

Восстание Туркменского полка было подавле-



но, началась расправа с участниками контрреволюции. При этом и мне, и завхозу больницы пришлось пережить страшные часы. Мы были арестованы неким Андреем, служителем больничного морга, питавшим ненависть ко мне, так как он был наказан начальником города после моей жалобы. Меня и завхоза больницы повели в железнодорожные мастерские, в которых происходил суд над Туркменским полком. Когда мы проходили по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах рабочие что-то кричали Андрею: как я после узнал, они советовали Андрею не возиться с нами, а расстрелять нас под мостом.

Огромное помещение было наполнено солдатами восставшего полка, и их по очереди вызывали в отдельную комнату и там в списке имен почти всем ставили кресты. В трибунале участвовал Андрей и другой служащий больницы, который успел предупредить других участников суда, что меня и завхоза по личной злобе арестовал Андрей. Нам крестов не поставили и быстро отпустили. Когда нас провожали обратно в больницу, то встречавшиеся по дороге рабочие крайне удивлялись тому, что нас отпустили из мастерских.

Позже мы узнали, что в тот же день вечером в огромной казарме мастерских была устроена ужасная человеческая бойня, были убиты солдаты Туркменского полка и многие горожане.

А моя бедная больная Аня знала, что меня аре-

стовали, знала, куда увели, и пережила ужасные часы до моего возвращения. Это тяжелое душевное потрясение крайне вредно отразилось на ее здоровье, и болезнь стала быстро прогрессировать. Настали и последние дни ее жизни. Она горела в лихорадке, совсем потеряла сон и очень мучилась. Последние двенадцать ночей я сидел у ее смертного одра, а днем работал в больнице. Настала последняя страшная ночь. Чтобы облегчить страдания умиравшей, я впрыснул ей шприц морфия, и она заметно успокоилась. Минут через двадцать слышу: «Впрысни еще». Через полчаса это повторилось опять, и в течение двух-трех часов я много впрыснул ей шприцев морфия, далеко превысив допустимую дозу. Но отравляющего действия его не видел. Вдруг Аня быстро поднялась и села, довольно громко сказала: «Позови детей». Пришли дети, и всех их она перекрестила, но не целовала, вероятно, боясь заразить. Простившись с детьми, она легла, спокойно лежала с закрытыми глазами, и дыхание ее становилось все реже и реже... Настал и последний вздох.

Гроб заранее был приготовлен. Утром пришли мои операционные служанки, обмыли и одели мертвое тело, и уложили в гроб. Аня умерла тридцати восьми лет, в конце октября 1919 года, и я остался с четырьмя детьми, из которых старшему было двенадцать, а младшему — шесть лет.

Две ночи я сам читал над гробом Псалтирь,



стоя у ног покойной в полном одиночестве. Часа в три второй ночи я читал сто двенадцатый псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме: От восток солнца до запад [Пс. 112; 3], и последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомненностью воспринял их как слова Самого Бога, обращенные ко мне: Неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях [Пс. 112; 9].

Господу Богу было ведомо, какой тяжелый, тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери моих детей Он Сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил. Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну Белецкую, о которой я знал только то, что она недавно похоронила мужа и была бездетной, [12] и все мое знакомство с ней ограничивалось только деловыми разговорами, относящимися к операции. И однако слова: неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях, – я без сомнения принял как Божие указание возложить на нее заботы о моих детях и воспитании их.

Я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хирургическом отделении. Я постучал в дверь. Открыв ее, она с изумлением отступила назад, увидев в столь ранний час своего сурового начальника, и с глубоким волне-

нием слушала о том, что случилось ночью над гробом моей жены.

Я только спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить Божие повеление заменить моим детям их умершую мать. София Сергеевна с радостью согласилась.

Она сказала, что ей очень больно было только издали смотреть, как мучилась моя жена, и очень хотелось помочь нам, но сама она не решалась предложить нам свою помощь. Она издали любила моих младших детей, но опасалась, что не сладит с Мишей, моим старшим сыном, потому что он обижает младших. Так и случилось. Троих младших детей она очень любила, и особенно самый младший, Валя, не слезал с ее колен. А Мишу пришлось ей перевоспитывать.

Моя квартира главврача состояла из пяти комнат, так удачно расположенных, что София Сергеевна могла получить отдельную комнату, вполне изолированную от тех, которые я занимал. Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, ибо Всевышнему Богу известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым. На этом остановлюсь, а после расскажу о тех великих благодеяниях, которые получали мои дети от Бога через Софию Сергеевну.



СВЯЩЕНСТВО

Я скоро узнал, что в Ташкенте существует церковное братство, и пошел на одно из заседаний его. По одному из обсуждавшихся вопросов я выступил с довольно большой речью, которая произвела большое впечатление. Это впечатление перешло в радость, когда узнали, что я главный врач городской больницы.

Видный протоиерей Михаил Андреев, настоятель привокзальной церкви, в воскресные дни по вечерам устраивал в церкви собрания, на которых он сам или желающие из числа присутствовавших выступали с беседами на темы Священного Писания, а потом все пели духовные песни. Я часто бывал на этих собраниях и нередко проводил серьезные беседы. Я, конечно, не знал, что они будут только началом моей огромной проповеднической работы в будущем.

Когда возникла недоброй памяти «живая» церковь, то, как известно, везде и всюду на епархиальных съездах духовенства и мирян обсуждалась деятельность епископов, и некоторых из них смещали с кафедр. Так, «суд» над епископом Ташкентским и Туркменским происходил в Ташкенте в большой певческой комнате, очень близко от кафедрального собора. На нем присутствовал и я, в качестве гостя, и по какому-то очень важному вопросу выступил с продолжительной, горячей речью.

Резких выступлений на съезде не было, и деятельность Преосвященного Иннокентия (Пустынского) получила положительную оценку. Когда кончился съезд и присутствовавшие расходились, я неожиданно столкнулся в дверях с Владыкой Иннокентием. Он взял меня под руку и повел на перрон, окружавший собор. Мы обошли два раза вокруг собора, Преосвященный говорил, что моя речь произвела большое впечатление, и неожиданно остановившись, сказал мне: «Доктор, вам надо быть священником!»

Как я уже говорил раньше, у меня никогда не было и мысли о священстве, но слова Преосвященного Иннокентиях принял как Божий призыв устами архиерея и, ни минуты не размышляя, ответил: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!»

Впрочем, позже я говорил с Владыкою о том, что в моем доме живет моя операционная сестра Велецкая, которую я, по явному, чудесному повелению Божию, ввел в дом матерью, радующеюся о детях, а священник не может жить в одном доме с чужой женщиной. Но Владыка не придал значения этому возражению, сказав, что не сомневается в моей верности седьмой заповеди.

Уже в ближайшее воскресенье, при чтении часов, я в сопровождении двух диаконов, вышел в чужом подряснике к стоявшему на кафедре архиерею и был посвящен им в чтеца, певца и иподиакона, а во время Литургии — и в сан диакона.



Конечно, это необыкновенное событие посвящения во диакона уже получившего высокую оценку профессора, произвело огромную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришли большой группой студенты медицинского факультета во главе с одним профессором. Конечно, они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от религии. Что поняли бы они, если бы я им сказал, что при виде кощунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом Христом, мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» И я чувствовал, что мой долг — защищать проповедью оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому.

Через неделю после посвящения во диакона, в праздник Сретения Господня 1921 года, я был рукоположен во иерея епископом Иннокентием.

Я забыл раньше сказать о том, что в Ташкенте я был одним из инициаторов открытия университета. Большинство кафедр было замещено избранными из числа ташкентских докторов медицины, и только я один был почему-то избран в Москве на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии.

Мне пришлось совмещать свое священническое служение с чтением лекций на медицинском факультете, слушать которые приходили во множестве и студенты других курсов. Лекции я читал в рясе с крестом на груди: в то время еще было воз-

можно невозможное теперь. Я оставался и главным хирургом ташкентской городской больницы, потому служил в соборе только по воскресеньям.

Преосвященный Иннокентий, редко проповедовавший, назначил меня четвертым священником собора и поручил мне все дело проповеди. При этом он сказал мне словами апостола Павла: «Ваше дело не крестити, а благовестити» [1 Кор. 1; 17. 31]. Он глубоко понимал, что говорил, и слово его было почти пророческим, и теперь, на тридцать восьмом году своего священства и тридцать шестом году своего архиерейства, я вполне ясно понимаю, что моим призванием от Бога была именно проповедь и исповедание имени Христова. За долгое время своего священства я почти никаких треб не совершал, даже ни разу не крестил полным чином крещения. Кроме проповеди при богослужениях, совершаемых Преосвященным Иннокентием и мною самим, я проводил каждый воскресный день после вечерни в соборе долгие беседы на важные и трудные богословские темы, привлекавшие много слушателей, целый цикл этих бесед был посвящен критике материализма. Богословского образования я не имел, но с Божией помощью легко преодолевал трудности таких бесед.

Кроме того, мне приходилось в течение двух лет часто вести публичные диспуты при множестве слушателей с отрекшимся от Бога протоиереем Ломакиным, бывшим миссионером Курской епархии,



возглавлявшим антирелигиозную пропаганду в Средней Азии.

Как правило, эти диспуты кончались посрамлением отступника от веры, и верующие не давали ему прохода вопросом: «Скажи нам, когда ты врал: тогда, когда был попом, или теперь врешь?» Несчастный хулитель Бога стал бояться меня и просил устроителей диспутов избавить его от «этого философа».

Однажды, неведомо для него, железнодорожники пригласили меня в свой клуб для участия в диспуте о религии. В ожидании начала диспута я сидел на сцене при опущенном занавесе и вдруг вижу — поднимается на сцену по лестнице мой всегдашний противник. Увидев меня, крайне смутился, пробормотал: «Опять этот доктор», поклонился и пошел вниз. Первым говорил на диспуте он, но, как всегда, мое выступление совершенно разбило все его доводы, и рабочие наградили меня громкими аплодисментами.

На несчастном хулителе Духа Святого страшно сбылось слово псалмопевца Давида: смерть грешников люта. Он заболел раком прямой кишки и при операции оказалось, что опухоль уже проросла в мочевой пузырь. В тазу скоро образовалась глубокая, крайне зловонная полость, наполненная гноем, калом и мочой и кишевшая множеством червей. Враг Божий пришел в крайнее озлобление от своих страданий, и даже партийные медицинские

сестры, назначаемые для ухода за ним, не могли выносить его злобы и проклятий и отказывались от ухода за ним.

В это трудное для меня время, когда мне приходилось совмещать служение и проповедь в кафедральном соборе с заведованием кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии и чтением лекций, я должен был спешно изучать богословие. И в этом деле мне помогал Господь Бог через одного из слушателей моих бесед и диспутов — верующего букиниста, который приносил мне так много богословских книг, что скоро у меня образовалась порядочная библиотека.

Но и этого мало: я продолжал работать в качестве главного врача больницы, широко оперировал каждый день и даже по ночам в больнице, и не мог не обрабатывать своих наблюдений научно. Для этого мне нередко приходилось делать исследования на трупах в больничном морге, куда ежедневно привозили повозки, горою нагруженные трупами беженцев из Поволжья, где свирепствовали тяжелый голод и эпидемии заразных болезней. Свою работу на этих трупах мне приходилось начинать с собственноручной очистки их от вшей и нечистот. Многие из этих исследований на трупах легли в основу моей книги «Очерки гнойной хирургии», выдержавшей три издания общим тиражом 60 000 экземпляров. За нее я получил Сталинскую премию первой степени.



Однако работа на покрытых вшами трупах обошлась мне недешево. Я заразился возвратным тифом в очень тяжелой форме, но, по милости Божией, болезнь ограничилась одним тяжелым приступом и вторым — незначительным.

Весной 1923 года, незадолго до церковного раскола и появления «живой» церкви, епископ Иннокентий созвал съезд духовенства Ташкентской и Туркестанской епархии, который должен был избрать двух кандидатов на возведение в архиерейский сан. Выбор пал на архимандрита Виссариона и на меня.

Вскоре произошло восстание против Патриарха Тихона московских и петроградских священников, которое возглавил протоиерей Александр Введенский. По всей России произошло разделение духовенства на стойких и крепких духом, верных Православной Церкви и Патриарху Тихону, и на малодушных, неверных, или не разбиравшихся в бурных церковных событиях, вошедших в «живую» церковь, возглавляемую Введенским и немногими его сообщниками, имен которых уже не помню.

Отозвался раскол и у нас в Ташкентской епархии. Архиепископ Иннокентий, крайне редко сам проповедовавший, выступил со смелой, сильной проповедью о том, что в Церкви бунт и что необходимо сохранять верность Церкви Православной и Патриарху Тихону и не входить ни в какие сноше-


ния с «живоцерковным» епископом, приезда которого ожидали.

Неожиданно для всех два видных протоиерея, на которых вполне надеялись, перешли в раскол, к ним присоединились и другие, и верных осталось немного.

Преосвященный Иннокентий поспешил совершить хиротонию архимандрита Виссариона. Совместно с епископом Сергием (Лавровым), недавно переведенным в Ташкент из ашхабадской ссылки, он совершил полным чином наречение во епископа архимандрита Виссариона. Но на другой же день нареченный епископ был арестован и выслан из Ташкента. Позже он примкнул к Григорианскому расколу и получил сан митрополита.

Преосвященный Иннокентий был очень испуган и тайно ночью уехал в Москву, надеясь оттуда попасть в Валаамский монастырь. Но это, конечно, ему не удалось, и лишь спустя много времени смог он пробраться в свою деревню Пустынька.

Епископ уехал. В Церкви бунт. Тогда протоиерей Михаил Андреев и я объединили всех оставшихся верными священников и церковных старост, устроили съезд оставшихся верными, предупредили об этом ГПУ, попросив разрешения и присылки наблюдателя. Мы с протоиереем Андреевым взяли на себя управление епархиальными делами и созывали в Ташкенте на епархиальное собрание священников и членов церковного совета, отверг-



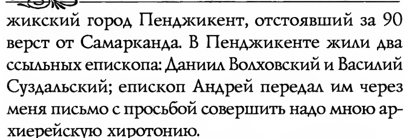
нувших «живую» церковь. На эти собрания мы просили ГПУ прислать своих представителей, но ни разу они не приезжали. Казалось бы, все безупречно, но за это, главным образом, я получил свою первую ссылку.

В это время приехал в Ташкент очень видный архиерей — Преосвященный Андрей (фамилии его не помню). Узнав о положении дел у нас, он назначил меня настоятелем собора и объявил протоиереем.

Вскоре после этого из Ашхабада в Ташкент был переведен другой ссыльный Преосвященный Андрей Уфимский, (князь Ухтомский). Незадолго до своего ареста и ссылки в Среднюю Азию он был в Москве, и Патриарх Тихон, находившийся под домашним арестом, дал ему право избирать кандидатов для возведения в сан епископа и тайным образом рукополагать их.

Приехав в Ташкент, Преосвященный Андрей одобрил избрание меня кандидатом на посвящение во епископа собором ташкентского духовенства и тайно постриг меня в монашество в моей спальне. Он говорил мне, что хотел дать мне имя целителя Пантелеимона, но когда побывал на Литургии, совершенной мною, и услышал мою проповедь, то нашел, что мне гораздо более подходит имя апостола-евангелиста, врача и иконописца Луки.

Преосвященный Андрей направил меня в тад-



жикский город Пенджикент, отстоявший за 90 верст от Самарканда. В Пенджикенте жили два ссыльных епископа: Даниил Волховский и Василий Суздальский; епископ Андрей передал им через меня письмо с просьбой совершить надо мною архиерейскую хиротонию.

Как я выше писал, я был два года и четыре месяца младшим священником ташкентского кафедрального собора, продолжая работать главным врачом и хирургом городской больницы. Мой отъезд в Самарканд должен был быть тайным, и потому я назначил на следующий день четыре операции, а сам вечером уехал на поезде в Самарканд в сопровождении одного иеромонаха, диакона и своего старшего сына — шестнадцатилетнего Михаила.

Утром приехали в Самарканд, но найти пароконного извозчика для дальнейшего пути в Пенджикент оказалось почти невозможным: ни один не соглашался ехать, потому что все боялись нападения басмачей. Наконец нашелся один смельчак, который решился нас везти. Мы долго ехали. На полдороге мы остановились в чайхане отдохнуть и покормить лошадей. Две последние ночи я не спал ни минуты и там, как только лег на деревянный помост, на котором пьют чай узбеки, в тот же миг точно в бездну провалился, заснул мертвым сном. Я спал только 3/4 часа, но сон укрепил меня, и я совершенно отдохнул. С Божией помощью мы доехали благополучно.



Преосвященные Даниил и Василий встретили нас с любовью. Прочитав письмо епископа Андрея Ухтомского, решили назначить на завтра Литургию для совершения хиротонии и немедленно отслужить вечерню и утреню в маленькой церкви Святителя Николая Мирликийского, без звона и при запертых дверях. С епископами жил ссыльный московский священник протоиерей Свенцицкий, известный церковный писатель, который тоже присутствовал при моем посвящении. На вечерне и Литургии читали и пели мои спутники и протоиерей Свенцицкий.

Преосвященных Даниила и Василия смущало то обстоятельство, что я не был архимандритом, а только иеромонахом, и не было наречения меня в сан епископа. Однако недолго колебались, вспомнили ряд примеров посвящения во епископа иеромонахов и успокоились. На следующее утро все мы отправились в церковь. Заперли за собой дверь и не звонили, а сразу начали службу и в начале Литургии совершили хиротонию.

При хиротонии посвящаемый склоняется над престолом, а архиерей держит над его головой раскрытое Евангелие. В этот важный момент хиротонии, когда читали совершительную молитву Таинства священства, я пришел в такое глубокое волнение, что всем телом дрожал, и потом архиереи говорили, что подобного волнения не видели никогда. Из церкви Преосвященные Даниил и Василий

и протоиерей Свенцицкий вернулись домой несколько раньше, чем я, и встретили меня архиерейским приветствием: «Тон деспотин ке архиереа имон...» Архиереем я стал 18/31 мая 1923 года. В Ташкент мы вернулись на следующий день вполне благополучно.

Когда сообщили об этой хиротонии Святейшему Патриарху Тихону, то он, ни на минуту не задумываясь, утвердил и признал ее законной.

На воскресенье, 21 мая, день памяти равноапостольных Константина и Елены, я назначил свою первую архиерейскую службу. Преосвященный Иннокентий уже уехал. Все священники кафедрального собора разбежались как крысы с тонущего корабля, и свою первую воскресную всенощную и Литургию я мог служить только с одним протоиереем Михаилом Андреевым.

На моей первой службе в алтаре присутствовал Преосвященный Андрей Уфимский; он волновался, что я не сумею служить без ошибок. Но, по милости Божией, ошибок не было.

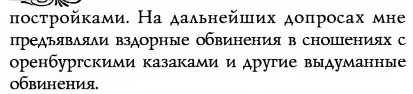
Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную. Вернувшись домой, я читал правило ко причащению Святых Тайн. В 11 часов вечера — стук в наружную дверь, обыск и первый мой арест. Я простился с детьми и Софией Сергеевной и в первый раз вошел в «черный ворон», как называли автомобиль ГПУ. Так положено было начало одиннадца-


ти годам моих тюрем и ссылок. Четверо моих детей остались на попечении Софии Сергеевны. Ее и детей выгнали из моей квартиры главного врача и поселили в небольшой каморке, где они могли поместиться только потому, что дети сделали нары, и каморка стала двухэтажной. Однако Софию Сергеевну не выгнали со службы, она получала два червонца в месяц и на них кормилась с детьми.

Меня посадили в подвал ГПУ. Первый допрос был совершенно нелепым. Меня спрашивали о знакомстве с совершенно неведомыми мне людьми, о сообществе с оренбургскими казаками, о которых я, конечно, ничего не знал.

Однажды ночью вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень крупный чекист, который впоследствии занимал очень видную должность в московском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах и моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: так кто же вы — друг наш или враг наш? Я ответил: «И друг ваш и враг ваш, если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонение на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш».

Меня на время оставили в покое и из подвала перевели в другое, более свободное помещение. Меня держали в наскоро приспособленном под тюрьму ГПУ большом дворе с окружающими его



постройками. На дальнейших допросах мне предъявляли вздорные обвинения в сношениях с оренбургскими казаками и другие выдуманные обвинения.

В годы своего священства и работы главным врачом ташкентской больницы я не переставал писать свои «Очерки гнойной хирургии», которые хотел издать двумя частями и предполагал издать их вскоре: оставалось написать последний очерк первого выпуска — «О гнойном воспалении среднего уха и осложнениях его».

Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы. Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном листе я написал: «Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии».

Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божие предсказание об этой книге, которое я получил еще в Переславле-Залесском несколько лет назад: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

Издать книгу двумя выпусками мне не удалось, и она была напечатана первым, далеко не полным изданием только после первой моей ссылки. Имя епископа, конечно, было выпущено.

В тюрьме меня держали недолго и освободили



на один день для того, чтобы я ехал свободно в Москву. Всю ночь моя бывшая квартира главного врача больницы была наполнена прихожанами собора, пришедшими проститься со мною. В это время Ташкентская архиерейская кафедра была уже занята "живоцерковным" митрополитом Николаем, которого я назвал лютым вепрем, возлегшим на горнем месте, и запретил иметь с ним общение. Это мое завещание взбесило чекистов.

Утром, простившись с детьми, я отправился на вокзал и занял место не в арестантском, а в пассажирском вагоне. После первого, второго и третьего звонков и свистков паровоза поезд минут двадцать не двигался с места. Как я узнал только через долгое время, поезд не мог двинуться по той причине, что толпа народа легла на рельсы, желая удержать меня в Ташкенте, но, конечно, это было невозможно.

ПЕРВАЯ ССЫЛКА

В Москве я явился в центральное ГПУ, где после короткого, ничего не значащего допроса мне объявили, что я могу свободно жить в Москве неделю, а потом должен снова явиться в ГПУ. В течение этой недели я дважды был у Патриарха Тихона и один раз служил совместно с ним.

При вторичной явке в ГПУ меня арестовали и отправили в Бутырскую тюрьму. После недельного пребывания в карантине меня поместили в уголовную камеру, в которой, однако, бандиты и жулики относились ко мне довольно прилично. В тюремной больнице я впервые познакомился с Новгородским митрополитом Арсением. В соседней камере, тоже уголовной, находился священник, имевший очень большое влияние на бандитов и жуликов. Влияние этого священника внезапно прекратилось, когда в камеру вошел старик матерый вор, которого уголовники встретили, как своего вождя, с большим почетом.

Нас каждый день выпускали на прогулку в тюремный двор. Возвращаясь со двора на второй этаж, я впервые заметил одышку.

Однажды, к моему большому удивлению, меня вызвали на свидание. Через решетку я разговаривал со своим старшим сыном Мишей. В поисках работы он испытал немало злоключений. В Киеве ему пришлось красить железнодорожный мост, вися в люльке над Днепром.

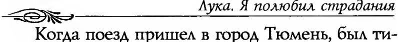
В библиотеке Бутырской тюрьмы мне, к большой радости, удалось получить Новый Завет на немецком языке, и я усердно читал его. Глубокой осенью большую партию арестантов Бутырской тюрьмы погнали пешком через всю Москву в Таганскую тюрьму. Я шел в первом ряду, а недалеко от меня шел тот матерый вор-старик, который был



повелителем шпаны в соседней с моей камере Бутырской тюрьмы.

В Таганской тюрьме меня поместили не со шпаной, а в камере политических заключенных. Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького. Проходя в клозет по длинному коридору, я увидел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры, пол которой по щиколотку был залит водой, сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный мне полушубок. Это произвело огромное впечатление на старика, предводителя шпаны, и каждый раз, когда я проходил мимо уголовной камеры, он очень любезно приветствовал меня и именовал «батюшкой». Позже в других тюрьмах я не раз убеждался в том, как глубоко ценят воры и бандиты простое человеческое отношение к ним.

В Таганской тюрьме я заболел тяжелым гриппом, вероятно вирусным, и около недели пролежал в тюремной больнице с температурой около 40 градусов. От тюремного врача я получил справку, в которой было написано, что я не могу идти пешком и меня должны везти на подводе. В московских тюрьмах мне пришлось сидеть вместе с протоиереем Михаилом Андреевым, приехавшим из Ташкента вместе со мной. Вместе с ним уехал я и из Москвы в свою первую ссылку, в начале зимы 1923 года.



Когда поезд пришел в город Тюмень, был тихий лунный вечер, и мне захотелось пройти в тюрьму пешком, хотя стража предлагала подводу. До тюрьмы было не более версты, но, на мою беду, нас погнали быстрым шагом, и в тюрьму я пришел с сильной одышкой. Пульс был мал и част, а на ногах появились большие отеки до колен.

Это было первое проявление миокардита, причиной которого надо считать возвратный тиф, который я перенес в Ташкенте через год после принятия священства. В Тюменской тюрьме наша остановка продолжалась недолго, около двух недель, и я все время лежал без врачебной помощи, так как единственную склянку дигиталиса получил только дней через двенадцать. В Тюменской тюрьме мы впервые встретились с протоиереем Илларионом Голубятниковым и дальше ехали вместе с ним.

Вторая этапная остановка была в городе Омске, но о ней у меня не осталось никаких воспоминаний. От Омска мы ехали до Новосибирска в «столыпинском» арестантском вагоне, состоявшем из отдельных камер с решетчатыми дверями и узкого коридора с маленькими, высоко расположенными оконцами. В камеру, отведенную для меня и моих спутников — двух протоиереев, посадили, кроме нас, бандита, убившего восемь человек, и проститутку, уходившую по ночам на практику к нашим стражникам.

Бандит знал, что я в Таганской тюрьме отдал свой



полушубок дрожавшему шпаненку, и был очень вежлив со мной. Он уверял меня, что никогда нигде меня не обидит никто из их преступной братии. Однако уже в Новосибирской тюрьме при мытье в бане у меня украли несколько сот рублей, а позже, в той же тюрьме, украли чемодан с вещами.

В этой тюрьме нас сначала посадили в отдельную камеру, а вскоре перевели в большую уголовную камеру, где нас шпана встретила настолько враждебно, что я должен был спасаться бегством от них: стал стучать в дверь под предлогом необходимости выйти в клозет и, выйдя, заявил надзирателю, что ни в коем случае не вернусь в камеру.

От Новосибирска до Красноярска ехали без особых приключений. В Красноярске нас посадили в большой подвал двухэтажного дома ГПУ. Подвал был очень грязен и загажен человеческими испражнениями, которые нам пришлось чистить, при этом нам не дали даже лопат. Рядом с нашим подвалом был другой, где находились казаки повстанческого отряда. Имени их предводителя я не запомнил, но никогда не забуду оружейных залпов, доносившихся до нас при расстреле казаков. В подвале ГПУ мы прожили недолго, и нас отправили дальше по зимнему пути в город Енисейск за триста двадцать километров к северу от Красноярска.

Об этом пути я мало помню, не забуду только операции, которую мне пришлось произвести на одном из ночлегов крестьянину лет тридцати. Пос-

ле тяжелого остеомиелита[5], никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр.

В Енисейске мы получили хорошую квартиру в доме зажиточного человека и прожили в ней около двух месяцев. К нам присоединился еще один ссыльный священник, и все мы по воскресным и праздничным дням совершали всенощную и Литургию в своей квартире, в которую входила и гостиная. В Енисейске было очень много церквей, но и здесь, как и в Красноярске, священники уклонились в «живоцерковный» раскол, и с ними, конечно, мы не могли молиться. Один диакон сохранил верность Православию, и я рукоположил его во пресвитера.

В один из праздничных дней я вошел в гостиную, чтобы начать Литургию, и неожиданно увидел стоявшего у противоположной двери незнакомого старика-монаха. Он точно остолбенел при виде меня и даже не поклонился. Придя в себя, он сказал, отвечая на мой вопрос, что в Красноярске народ не хочет иметь общения с неверными священниками и решил послать его в город Минусинск, верст за триста к югу от Красноярска, где

[5]Гнойное воспаление костного вещества.



жил православный епископ, имени его не помню. Но к нему не поехал монах Христофор, ибо какая-то неведомая сила увлекла его в Енисейск ко мне. «А почему же ты так остолбенел, увидев меня?» — спросил я его. «Как было мне не остолбенеть?! — ответил он. — Десять лет тому назад я видел сон, который как сейчас помню. Мне снилось, что я в Божием храме и неведомый мне архиерей рукополагает меня во иеромонаха. Сейчас, когда Вы вошли, я увидел этого архиерея!»

Монах сделал мне земной поклон, и за Литургией я рукоположил его во иеромонаха.

Десять лет тому назад, когда он видел меня, я был земским хирургом в городе Переславле-Залесском и никогда не помышлял ни о священстве, ни об архиерействе. А у Бога в то время я уже был епископом. Так неисповедимы пути Господни.

Мой приезд в Енисейск произвел очень большую сенсацию, которая достигла апогея, когда я сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым маленьким мальчикам-братьям и сделал их зрячими. По просьбе доктора Василия Александровича Башурова, заведовавшего енисейской больницей, я начал оперировать у него и за два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций. В то же время я вел большой прием больных у себя на дому, и было так много желающих попасть ко мне, что в первые же дни оказалось необходимым вести

запись больных. Эта запись, начатая в первых числах марта, скоро достигла дня Святой Троицы.

Незадолго до моего приезда в Енисейске был закрыт женский монастырь, и две послушницы этого монастыря рассказали мне, каким кощунством и надругательством сопровождалось это закрытие храма Божия. Дело дошло до того, что комсомолка, бывшая в числе разорявших монастырь, задрала все свои юбки и села на престол. Этих двух послушниц я постриг в монашество и дал им имена моих небесных покровителей: старшую назвал Лукией, а младшую — Валентиной.

Незадолго до Благовещения я был послан в назначенное мне место ссылки — деревню Хая на реке Чуне, притоке Ангары. Лукия и Валентина с вещами поехали вперед меня, а со мной до районного села Богучаны ехали протоиереи Илларион Голубятников и Михаил Андреев. Ехали мы на лошадях по замерзшему Енисею и Ангаре до Богучан, где нас разлучили, послав протоиереев Голубятникова и Андреева в недалекие от Богучан деревни, а меня за сто двадцать верст, в деревню Хая. В Богучанах я оперировал больного, у которого был нагноившийся эхинококк печени, и через несколько месяцев, возвращаясь из Хаи, нашел его вполне здоровым.

В Богучанах мне указали благочестивого крестьянина в селе Хая, у которого советовали поселиться, но предупреждали, что у него злая стару-

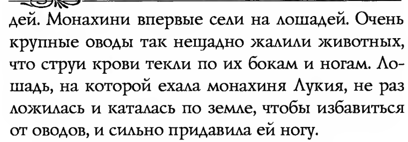


ха-мать. В Хае меня уже ожидали мои монахини, поселившиеся у этого крестьянина. Старуха-мать встретила меня с большой радостью. Мне отвели две комнаты, в одной из которых я с монахинями совершал богослужение, а в Другой спал. Злая старуха только в первые дни приходила на наше богослужение, а потом не только оставалась на своей половине, но старалась всячески мешать нашим службам.

Злая старуха все больше и больше притесняла нас и стала прямо-таки выживать из дома. Дело дошло до того, что мы с монахинями вынесли из дома свои вещи и сели на них у стены. Видя, что нас выгнали из дома, народ возмутился и заставил старуху принять нас обратно в дом.

В Хае мне довелось оперировать у старика катаракту в исключительной обстановке. У меня был с собой набор глазных инструментов и маленький стерилизатор. В пустой нежилой избе я уложил старика на узкую лавку под окном и в полном одиночестве сделал ему экстракцию катаракты. Операция прошла вполне успешно. За нее я получил десять беличьих шкурок, ценившихся по рублю. Довелось мне также совершать и погребение по пасхальному чину одного крестьянина с моими монахинями.

В Хае мы прожили месяца два, и был получен приказ отправить меня снова в Енисейск. Нам дали двух провожатых крестьян и верховых лоша-


дей. Монахини впервые сели на лошадей. Очень крупные оводы так нещадно жалили животных, что струи крови текли по их бокам и ногам. Лошадь, на которой ехала монахиня Лукия, не раз ложилась и каталась по земле, чтобы избавиться от оводов, и сильно придавила ей ногу.

На полдороге до Богучан мы ночевали в лесной избушке, несмотря на требование провожатых ехать дальше всю ночь. На них подействовала только моя угроза, что они будут отвечать перед судом за бесчеловечное обращение со мной — профессором. Не доезжая верст десяти до Богучан прекратилась наша верховая езда. Меня, никогда прежде не ездившего верхом и крайне утомленного, пришлось снимать с лошади моим провожатым. Дальше до Богучан мы ехали на телеге. Затем плыли по Ангаре на лодках, причем пришлось миновать опасные пороги. Вечером, на берегу Енисея, против устья Ангары, мы с монахинями отслужили под открытым небом незабываемую вечерню.

По прибытии в Енисейск я был заключен в тюрьму в одиночную камеру. Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажег электрическую лампочку и увидел, что вся подушка и постель, и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал поджигать клопов, которые стали

падать на пол со стен и постели. Эффект этого поджигания был поразительным. Через час поджигания в камере не осталось ни одного клопа. Они, по-видимому, как-то сказали друг другу: «Спасайся, братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие камеры. В Енисейской тюрьме меня держали недолго и отправили дальше, вниз по Енисею, когда пришел из Красноярска караван, состоявший из небольшого парохода, буксировавшего несколько барж. Меня поместили в одной из этих барж вместе с отправленными в Туруханский край социал-революционерами. Монахини Лукия и Валентина хотели провожать меня, но этого им не позволили.

Путь по широкому Енисею, текущему по безграничной тайге, был скучен и однообразен. На полдороге до Туруханска была небольшая остановка в довольно крупном селении, название которого я не помню. На берегу меня встретила большая группа ссыльных, встречавших каждый пароход в надежде увидеть меня, ибо там как-то прослышали о моей ссылке в Туруханск. Из этой группы ко мне подошел представиться пресвитер ленинградской баптистской общины Шилов, с особым нетерпением ожидавший меня. Позже он приезжал ко мне в Туруханск для долгих бесед.

Немного поодаль стояла другая группа людей, тоже ожидавших меня. Это были тунгусы, все

больные трахомой[6]. Одному из них, полуслепому от заворота век, я предложил приехать ко мне в Туруханск в больницу для операции. Он вскоре последовал моему совету, и я сделал ему пересадку слизистой оболочки губы на веки.

В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа, ожидавшая меня, вдруг опустилась на колени, прося благословения. Меня сразу же поместили в квартире врача больницы и предложили вести врачебную работу. Незадолго до этого врач больницы, поздно распознав у себя рак нижней губы, уехал в Красноярск, где ему была сделана операция, уже запоздалая, как оказалось впоследствии. В больнице оставался фельдшер, и вместе со мной приехала сестра из Красноярска – молодая девушка, только что окончившая фельдшерскую школу и очень волновавшаяся от перспективы работать с профессором. С этими двумя помощниками я делал такие большие операции, как резекция верхней челюсти, большие чревосечения, гинекологические операции и немало глазных.

Уже начинался ледоход на Енисее, когда, к моему удивлению, приехал ко мне на лодке за семьсот верст ленинградский пресвитер баптистов Шилов. Шилов предпринял этот опасный, тяжелый путь только ради бесед со мною. Раньше его в Туруханск

[6]Трахома – хроническое вирусное заболевание глаз, при отсутствии лечения ведущее к изъязвлению роговицы, завороту век, образованию бельма, слепоте.



приехал маленький тщедушный еврейчик, который из Америки приехал в Москву под видом коммуниста, но чем-то возбудил подозрение и был заключен в упраздненный Соловецкий монастырь.

Этот еврейчик однажды присутствовал при моей беседе с Шиловым, и я по его просьбе разрешил ему присутствовать на наших беседах, которые продолжались дня три по несколько часов ежедневно. Шилов просил меня разобрать целый ряд текстов Священного Писания, и, конечно, я разъяснил их в православном духе. Но странным образом оказалось, как увидим в дальнейшем, Шилов счел меня убежденным в правоте баптизма. Наши беседы закончились. Шилов успел вернуться в Красноярск на каком-то запоздавшем пароходе.

В Туруханске был закрытый мужской монастырь, в котором, однако, старик-священник совершал все богослужения. Он подчинялся красноярскому «живоцерковному» архиерею, и мне надо было обратить его и всю туруханскую паству на путь верности древнему Православию. Достигнуть этого удалось проповедью о великом грехе церковного раскола: священник принес покаяние перед народом, и я мог бывать на церковных службах и почти всегда проповедовал на них. Туруханские крестьяне были мне глубоко благодарны и привозили меня в монастырь и домой на устланных коврами санях. В больнице, конечно, я не отказывал никому в благословении, которое очень ценили тун-

гусы и всегда просили. За это и за церковные проповеди мне пришлось дорого поплатиться.

Меня предупреждали, что председатель Туруханского краевого совета — большой враг и ненавистник религии. Это, однако, не помешало ему возопить к Богу о спасении, когда он попал в жестокую бурю на Енисее на небольшой лодке. По требованию этого председателя меня вызвал уполномоченный ГПУ и объявил, что мне строго запрещается благословлять больных в больнице, проповедовать в монастыре и ездить в него на покрытых коврами санях. Я ответил, что по архиерейскому долгу не могу отказыват©ь людям в благословении, и предложил ему самому повесить на больничных дверях объявление о запрещении больным просить у меня благословения. Этого, конечно, он сделать не мог. О поездках в церковь я тоже ему предложил запретить крестьянам подавать мне сани, устланные коврами. Этого он тоже не сделал.

Однако недолго терпели мою твердость. Здание ГПУ находилось совсем рядом с больницей. Меня вызвали туда, и у входной двери я увидел сани, запряженные парой лошадей, и милиционера. Уполномоченный ГПУ встретил меня с большой злобой и объявил, что за неподчинение требованиям исполкома я должен немедленно уехать дальше из Туруханска и на сборы мне дается полчаса. Я только спросил спокойно: куда же именно


высылают меня? И получил раздраженный ответ: «На Ледовитый океан».

Я спокойно ушел в больницу, и за мной последовал милиционер. Он шепнул мне на ухо: «Пожалуйста, пожалуйста, профессор, собирайтесь, как можно быстрее: нам нужно только выехать отсюда и поскорее доехать до ближайшей деревни, а дальше поедем спокойно». Скоро мы добрались до недалекой от Туруханска деревни Селиванихи, получившей свое название от фамилии главаря секты скопцов Селиванова, отбывавшего в ней свою ссылку.

Скоро собрались мои компаньоны по ссылке — социал-революционеры, с большим интересом относившиеся ко мне и долго беседовавшие со мной. Они снабдили меня деньгами и меховым одеялом, которое очень пригодилось мне. После ночлега в съезжей избе поехали дальше.

Путь по замерзшему Енисею в сильные морозы был очень тяжел для меня. Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мною Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня.

Ночуя в прибрежных станках, мы доехали до Северного полярного круга, за которым стояла деревушка, название которой я не помню. В ней жил в ссылке И. В. Сталин.

Когда мы вошли в избу, хозяин ее протянул мне руку. Я спросил: «Ты разве не православный? Не знаешь, что у архиерея просят благословения,


а не руку подают?» Это, как позже выяснилось, произвело очень большое впечатление на конвоировавшего меня милиционера. Он и раньше, на пути от Селиванихи до следующего станка говорил мне: «Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отрочь монастырь».

Следующий наш ночлег был в станке из двух дворов, в котором жил суровый старик Афиноген со своими четырьмя сыновьями на положении средневекового феодального барона. Он присвоил себе исключительное право на ловлю рыбы в Енисее на протяжении сорока километров, и никто не смел оспаривать это право. Младший из сыновей старика являл собою необыкновенный пример патологической лености. Он отказывался от всякой работы и по целым дням лежал. Его много раз свирепо, до полусмерти избивали, но ничего не помогало. Старик Афиноген считал себя примерным христианином и любил читать Священное Писание. До поздней ночи я беседовал с ним, разъясняя то, что он понимал неправильно.

Дальнейший путь был еще более тяжел. Один из следующих станков недавно сгорел. Мы не могли остановиться в нем на ночь и с трудом достали оленей, ослабевших от недостатка корма. На них пришлось ехать до следующего станка. Проехав без остановки не менее семидесяти верст, я очень ослабел и так закоченел, что меня на руках внесли в



избу и там долго отогревали. Дальнейший путь до станка Плахино, отстоявшего за двести тридцать километров от Полярного круга, прошел без приключений. Моему комсомольцу, как он мне сказал, было поручено самому избрать для меня место ссылки, и он решил оставить меня в Плахино.

Это был совсем небольшой станок, состоявший из трех изб и, еще двух больших, как мне показалось, груд навоза и соломы, которые в действительности были жилищами двух небольших семей. Мы вошли в главную избу и вскоре сюда же вошли вереницей очень немногочисленные жители Плахино. Все низко поклонились, и председатель станка сказал мне: «Ваше Преосвященство! Не извольте ни о чем беспокоиться, мы все для вас устроим». Он представил мне одного за другим мужиков и женщин, говоря при этом: «Не извольте ни о чем беспокоиться. Мы уже все обсудили. Каждый мужик обязуется поставлять вам полсажени дров в месяц. Вот эта женщина будет вам готовить, а эта будет стирать. Не извольте ни о чем беспокоиться». Все просили у меня благословения и показали приготовленное для меня помещение в другой избе, разделенной на две половины. В одной половине жил молодой крестьянин со своей женой. Их переселили в другую половину избы, потеснив живших там. Мой конвоир-комсомолец очень внимательно наблюдал за всей сценой знакомства моего с жителями станка. Он должен был сейчас уехать ноче-



вать в торговую факторию, находившуюся в нескольких километрах от Плахино. Было видно, что он взволнован предстоящим прощанием со мной. Но я вывел его из затруднения, благословив и поцеловав его. Это, как увидим в дальнейшем повествовании, произвело на него сильное впечатление.

Я остался один в своем помещении. Это была довольно просторная половина избы с двумя окнами, в которых вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой. Вблизи нар стояла железная печурка, которую на ночь я наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом, которое подарили мне в Селиванихе. Ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз, стоявший в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре.

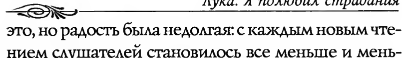
В первый же день я принялся заклеивать щели в окне клейстером и толстой оберточной бумагой от покупок, сделанных в фактории, и ею же пытался закрыть щель в углу избы. Весь день и ночь я то-



пил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то выше пояса было тепло, а ниже — холодно. Однажды мне пришлось помыться в таком холоде. Мне принесли таз и два ведра воды: одно — холодной, с кусками льда, а другое — горячей, и не понимаю, как я умудрился помыться в таких условиях. Иногда по ночам меня будил точно сильнейший удар грома, но это был не гром, а трескался лед поперек всего широкого Енисея.

Недолго я получал пищу от бабы, которая обязалась стряпать для меня: она подралась со своим любовником и отказалась готовить мне пищу. Мне пришлось первый раз в жизни попробовать самому готовить себе пищу, о чем я не имел никакого понятия. Рыбу мне приносили крестьяне, а другие продукты покупали в фактории. Не помню уже, какой курьез получился у меня при попытке изжарить рыбу, но хорошо помню, как я варил кисель. Я сварил клюкву и стал подливать в нее жидкий крахмал; сколько я ни лил, мне все казалось, что кисель жидок, я продолжал лить крахмал, пока кисель не превратился в твердую массу. Потерпев такое фиаско со своей кулинарией, я должен был спасовать, и надо мной сжалилась другая баба и стала стряпать для меня.

У меня был с собой Новый Завет, с которым я не расставался и в ссылках своих. И в Плахине я предложил крестьянам читать и объяснять им Евангелие. Они как будто с радостью откликнулись на


это, но радость была недолгая: с каждым новым чтением слушателей становилось все меньше и меньше, и вскоре прекратились мои чтения и проповедь.

Расскажу еще об одном Божием деле, которое мне пришлось совершить в Плахине. Теперь, когда пишу эти воспоминания, я уже более тридцати семи лет в священном сане и более тридцати пяти лет в архиерейском, но, как это ни странно, я крестил только трех детей: одного близкого к смерти — сокращенным чином и двух других — совершенно необыкновенным образом.

И вот в самой далекой моей ссылке, за двести тридцать верст дальше Полярного круга в станке Плахино, мне пришлось крестить двух малых детей в совершенно необычной обстановке. Как я уже говорил, в станке, кроме трех изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за стог сена, а другое — за кучу навоза. Вот в этом последнем мне и пришлось крестить. У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а все время совершения Таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели.

И теперь мне, архиерею, крестить не приходится, ибо крестят мои священники.



В Плахине часто бывают очень сильные морозы, и там не живут вороны и воробьи, потому что при таком холоде они могут замерзнуть на лету и камнем упасть на землю. За два месяца моей жизни в Плахине я только один раз увидел сидевшую на кусте маленькую птичку, похожую на большой комок розового пуха. Однажды мне пришлось испытать крайне тяжелый мороз, когда несколько дней подряд беспрестанно дул северный ветер, называемый тамошними жителями «сивер». Это тихий, но не перестающий ни ночью, ни днем леденящий ветер, который едва переносят лошади и коровы. Бедные животные день и ночь неподвижно стоят, повернувшись задом к северу.

На чердаке моей избы были развешены рыболовные сети с большими деревянными поплавками. Когда дул «сивер», поплавки непрестанно стучали, и этот стук напоминал мне музыку Грига «Пляска мертвецов». Мне, конечно, всегда приходилось выходить днем и ночью из избы по естественным надобностям на снег и мороз. Это было крайне трудно и в обычное время, но когда дул «сивер», положение становилось отчаянным. В Плахине прожил я немного более двух месяцев — до начала марта, и проезжих в этом станке никого не было.

Только в начале марта Господь неожиданно послал мне избавление. В начале Великого поста в Плахино приехал нарочный из Туруханска и привез

мне письмо, в котором уполномоченный ГПУ вежливо предлагал мне вернуться в Туруханск. Я не понимал, что случилось, почему меня возвращают в Туруханск, и узнал только вернувшись туда. Оказалось, что в туруханской больнице умер крестьянин, нуждавшийся в неотложной операции, которой без меня не могли сделать. Это так возмутило туруханских крестьян, что они вооружились вилами, косами и топорами и решили устроить погром ГПУ и сельсовета. Туруханские власти были так напуганы, что немедленно послали ко мне гонца в Плахино.

Обратный путь в Туруханск был не слишком трудным, и только в станке Афиногена мне пришлось испытать неприятности. Отвезти меня в станок, где жил Сталин, Афиноген послал одного из своих сыновей. Лошадь шла все время шагом, и ямщик не хотел погонять ее. Я не стерпел этого, вырвал из рук ямщика вожжи и стал хлестать лошадь. Ямщик соскочил с саней и побежал обратно. Мне ничего не оставалось делать, как повернуть лошадь и ехать шагом к избе Афиногена. Этот «истинный христианин» крайне грубо изругал меня, архиерея, но гнев его тотчас утих, когда он получил от меня золотую пятирублевую монету. Он дал мне пару хороших лошадей, а ямщиком — другого сына своего.

На одном из следующих станков я испытал поездку на собаках: шесть здоровенных сибирских


псов были запряжены в нарты. Они бежали хорошо, но вдруг одна из них укусила другую, другая третью, и все свалились в дерущуюся кучу. Ямщик соскочил и стал лупить собак деревянным шестом, который служил ему для управления собаками. Порядок был восстановлен, и собаки благополучно довезли нас до места назначения.

Первым, кто встретил меня в Туруханске с распростертыми объятиями и неподдельной радостью, был тот самый милиционер-комсомолец, который вез меня из Туруханска в Плахино.

Я опять начал работу в больнице. Уполномоченный ГПУ, с большой злобой и скрежетом зубов выславший меня из Туруханска на север вниз по Енисею за мое неподчинение, встретил меня изысканно вежливо, осведомлялся о моем здоровье и житье в Плахино.

Однажды случился пикантный инцидент. Уполномоченный по какому-то делу пришел ко мне в больницу. Во время моего разговора с ним отворилась дверь, и в комнату вошла целая вереница тунгусов со сложенными руками для принятия моего благословения. Я встал и всех благословил, а уполномоченный сделал вид, что не замечает этого. И в монастырь я, конечно, продолжал ездить на санях, покрытых ковром.

Это мое второе пребывание в Туруханске длилось восемь месяцев: от Благовещения Пресвятой Богородицы до ноября.

В середине лета, не помню точно, в какой форме, я имел, как мне казалось, предсказание от Бога о скором возвращении из туруханской ссылки. Я ждал с нетерпением исполнения этого обещания, но шли недели за неделями, и все оставалось по-прежнему. Я впал в уныние, и однажды в алтаре зимней церкви, которая сообщалась дверью с летней церковью, со слезами молился пред запрестольным образом Господа Иисуса Христа. В этой молитве, очевидно, был и ропот против Господа Иисуса за долгое невыполнение обещания об освобождении. И вдруг я увидел, что изображенный на иконе Иисус Христос резко отвернул Свой пречистый лик от меня. Я пришел в ужас и отчаяние и не смел больше смотреть на икону. Как побитый пес пошел я из алтаря в летнюю церковь, где на клиросе увидел книгу Апостол. Я машинально открыл ее и стал читать первое, что попалось мне на глаза.

К большой скорби моей, я не запомнил текста, который прочел, но этот текст произвел на меня прямо-таки чудесное действие. Им обличалось мое неразумие и дерзость ропота на Бога и вместе с тем подтверждалось обещание освобождения, которого я нетерпеливо ожидал.

Я вернулся в алтарь зимней церкви и с радостью увидел, глядя на запрестольный образ, что Господь Иисус опять смотрит на меня благодатным и светлым взором.

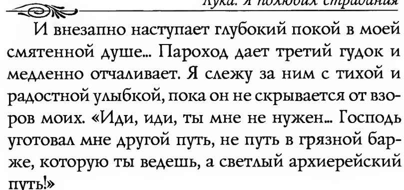
Разве же это не чудо?!

ПЕРЕД ВТОРОЙ ССЫЛКОЙ

Приближался конец моей туруханской ссылки. С низовьев Енисея приходили один за другим пароходы, привозившие моих многочисленных товарищей по ссылке, одновременно со мной получивших тот же срок. Наш срок кончился. И эти последние пароходы должны были отвезти нас в Красноярск. В одиночку и группами приходили пароходы изо дня в день. А меня не вызывали в ГПУ для получения документов.

Однажды вечером, в конце августа пришел последний пароход и наутро должен был уйти. Меня не вызывали, и я волновался, не зная, что было предписание задержать меня еще на год.

Утром 20 августа я по обыкновению читал утреню, а пароход разводил пары. Первый протяжный гудок парохода... Я читаю четвертую кафизму Псалтири... Последние слова тридцать первого псалма поражают меня, как гром... Я всем существом воспринимаю их как голос Божий, обращенный ко мне. Он говорит: Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Не будите яко конь и меск, имже несть разума: браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе (Пс. 31; 8–9).



И внезапно наступает глубокий покой в моей смятенной душе... Пароход дает третий гудок и медленно отчаливает. Я слежу за ним с тихой и радостной улыбкой, пока он не скрывается от взоров моих. «Иди, иди, ты мне не нужен... Господь уготовал мне другой путь, не путь в грязной барже, которую ты ведешь, а светлый архиерейский путь!»

Через три месяца, а не через год, Господь повелел отпустить меня, послав мне маленькую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее. Меня обязаны были отпустить в Красноярск.

Енисей замерз в хаотическом нагромождении огромных льдин. Санный путь по нему должен был установиться только в середине января. Только один из ссыльных — эсер Чудинов — был задержан при отходе последних пароходов и должен был ехать вместе со мной. К нему в ссылку приехала жена с десятилетней дочерью, которая внезапно умерла в Туруханске.

В последнее время я постоянно замечал в церкви стоявшего у двери Чудинова, который внимательно слушал мои проповеди. По Енисею возили только на нартах, но для меня крестьяне сделали крытый возок. Настал долгожданный день отъезда... Я должен был ехать мимо монастырской церкви, стоявшей на выезде из Туруханска, в которой я много проповедовал и иногда даже служил. У



церкви меня встретил священник с крестом и большая толпа народа.

Священник рассказал мне о необыкновенном событии. По окончании Литургии в день моего отъезда вместе со старостой он потушил в церкви все свечи, но когда, собираясь провожать меня, вошел в церковь, внезапно загорелась одна свеча в паникадиле, с минуту померцала и потухла.

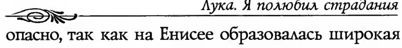
Так проводила меня любимая мною церковь, в которой под спудом лежали мощи святого мученика Василия Мангазейского.

Тяжкий путь по Енисею был тем светлым архиерейским путем, о котором при отходе последнего парохода предсказал мне Сам Бог словами псалма Тридцать первого: Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои. Буду смотреть, как ты пойдешь этим путем, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющий разума, которого надо направлять удилами и уздою.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо на всех тех остановках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном и я служил молебны и проповедовал.

А с самых дальних времен архиерея в этих местах не видали.

В большом селе, не доезжая 400 верст до Енисейска, меня предупредили, что дальше ехать нельзя —


опасно, так как на Енисее образовалась широкая трещина во льду, а у берегов вода широко вышла поверх льда, образовав так называемые «забереги», да и дороги в прибрежной тайге не было. Но мы все-таки поехали.

Доехали до широкой трещины через всю реку шириною больше метра. Увидели, что в ней тонет лошадь с санями, которую тщетно старается вытащить бедная женщина. Помогли ей и вытащили лошадь с санями, а сами призадумались, что делать. Мой ямщик, лихой кудрявый парень, а за ним и ямщик Чудинова не колебались. Они только сказали: «Держись покрепче!», стали во весь рост, дико заорали на лошадей и нахлестали их; лошади рванулись изо всей мочи — и перескочили через полынью, а за ними перелетели по воздуху и наши сани.

От Туруханска до Красноярска мы ехали полтора месяца. За день проезжали расстояние от станка до станка — в среднем сорок верст. Я был одет в меховые тунгусские одежды и ноги закрывал енотовой шубой. Однажды ямщик просил меня подержать вожжи, пока поправит упряжь на лошадях. На руках у меня были кроличьи рукавицы, но как только я вынул руки из-под шубы и взял вожжи, руки обожгло как огнем, так жесток был мороз.

В некоторых станках ко мне приходили мои прежние пациенты, которых я оперировал в Ту-

руханске. Особенно запомнился старик-тунгус, полуслепой от трахомы, которому я исправил заворот век пересадкой слизистой оболочки. Результат операции был так хорош, что он по-прежнему стреляет белок, попадая прямо в глаз. Мальчик, оперированный по поводу крайне запущенного остеомиелита бедра, пришел ко мне здоровым. Были и другие подобные встречи.

Мы благополучно доехали до Енисейска, в котором духовенство, прежде бывшее сплошь обновленческим, но обращенное мною на путь правды перед моим отъездом в Туруханск, устроило мне торжественную встречу. Отслужили благодарственный молебен и, проехав еще триста тридцать верст, приехали в Красноярск, за два дня до праздника Рождества Христова.

В Красноярске в ожидании моего приезда осенью народ во множестве тщетно встречал каждый пароход с низовьев Енисея. И теперь встретить меня им не удалось.

Мы направились к епископу Амфилохию. Его келейник, монах Мелетий, был слеп на один глаз, вследствие центрального бельма роговицы, и надо было сделать ему оптическую иридэктомию[7]. Я послал его к главному врачу больницы с письмом, в котором просил разрешения мне сделать эту операцию в глазном отделении. Просьбу эту охот-

[7]Иридэктомия — иссечение кусочка радужной оболочки.


но исполнили, и на другой день, приехав с Мелетием в больницу, я неожиданно увидел в глазном отделении целую толпу врачей, пришедших посмотреть на мою операцию.

Быстро покончив с иридэктомией, я выразил сожаление о том, что не могу показать врачам операции удаления слезного мешка, гораздо более интересной для них. Но тотчас мне сказали, что есть в больнице больной, ожидающий этой операции. Быстро приготовили его, и я рассказал врачам, как произвожу эту операцию. Я начал с подробного описания топографической анатомии слезного мешка, рассказал о своем способе регионарной анестезии и, начав операцию, шаг за шагом демонстрировал им все, что только что рассказал. Операция прошла без всякой боли и почти совсем бескровно. На другой день мы с Чудиновым должны были явиться в ГПУ, и в коридоре второго этажа ожидали вызова. Меня первым вызвали на третий этаж. Допрос вежливо начал молодой чекист, но вскоре вошел помощник начальника ГПУ, оборвал допрос и поручил его другому. Этот вынул допросный лист и стал спрашивать меня о моих строптивых и смелых пререканиях с туруханским уполномоченным ГПУ. Я отвечал так, что не оправдывался, а сам обвинял уполномоченного и председателя районного исполкома. Записывавший мои ответы чекист смутился и был в явном замешательстве.

Опять вошел помощник начальника ГПУ, через плечо допрашивавшего чекиста прочел его записи и бросил их в ящик стола. К моему удивлению, он вдруг переменил свой прежний резкий тон и, показывая в окно на обновленческий собор, сказал мне: «Вот этих мы презираем, а таких как Вы — очень уважаем». Он спросил меня, куда я намерен ехать, и удивил меня этим. «Как, разве я могу ехать куда хочу?» — «Да, конечно». — «И даже в Ташкент?» — «Конечно, и в Ташкент. Только, прошу Вас, уезжайте как можно скорее». — «Но ведь завтра великий праздник Рождества Христова, и я непременно должен быть в церкви». На это с трудом согласился начальник, но просил меня непременно уехать после Литургии. «Вы получите билет на поезд, и Вас отвезут на вокзал. Пожалуйте, пожалуйте, мы отвезем Вас». Он очень вежливо провожает меня вместе с допрашивавшим чекистом вниз, в тот памятный мне двор, из которого одна дверь вела в большой подвал, загаженный испражнениями, в котором я и мои спутники содержались до отправки в Енисейск, а другая дверь вела в другой подвал, в котором при нас производились расстрелы.

В этом дворе начальник с изысканной вежливостью усадил меня в автомобиль, а чекисту велел проводить меня до квартиры, в которой я остановился.

Я по опыту знал, как опасно верить словам че-


кистов, и с тревогой ждал, куда повернет автомобиль в том месте, где дорога налево ведет к тюрьме, а дорога направо — к православному собору. Вблизи него чекист позвонил у ворот и вышедшей хозяйке сказал, чтобы она не заботилась о моей прописке. Вежливо откланявшись мне, он уехал, а я пошел через улицу в собор, при котором жил Преосвященный Амфилохий.

Уже в начале моей беседы с ним вошел с докладом монах Мелетий, говоря, что прибежал какой-то тяжело запыхавшийся господин и просит позволения видеть меня. Как я тотчас догадался, это был Чудинов, с тревогой бежавший за автомобилем, в котором везли меня, и как я, мучительно ожидавший, повернет ли машина направо к собору или пойдет налево — в тюрьму.

Получив разрешение от Преосвященного Амфилохия, в комнату вбежал Чудинов, взволнованный до крайности и, рыдая, бросился на колени к моим ногам. Получив благословение от меня и епископа Амфилохия, он просил нас обоих молиться об упокоении души его десятилетней дочери, скоропостижно скончавшейся в Туруханске.

После рождественской всенощной и Литургии, которую я служил совместно с Красноярским епископом Амфилохием, мне подали пароконный фаэтон из ГПУ, и с Чудиновым я отправился на вокзал. На полдороге вдруг нас остановил молодой милиционер, вскочил на подножку и стал об-



нимать и целовать меня. Это был тот самый милиционер, который вез меня из Туруханска в станок Плахино, за 230 верст к северу от Полярного круга.

На вокзале меня уже ждала большая толпа народа, пришедшая проводить меня.

В Ташкент я возвращался через город Черкассы Киевской области, где жили мои родители и старший брат Владимир. Из Красноярска я довольно благополучно доехал до Черкасс.

Я ехал вместе с Чудиновым, и в Омске мне надо было дать телеграмму в Черкассы. Остановка была короткая, а телеграф помещался на верхнем этаже, и я не успел сбежать вниз, как поезд тронулся дальше. Чудинов, по моей телеграмме, оставил мои вещи на следующей станции, где я и получил их, но со своим добрым спутником, ехавшим в Архангельскую область, я больше не встречался.

Трогательна была встреча моих престарелых родителей с сыном — профессором хирургии, ставшим епископом. С любовью целовали они руку своего сына, со слезами слушали панихиду, которую я служил над могилой умершей сестры моей Ольги.

Из Черкасс я наконец вернулся в Ташкент. Это было в конце января 1926 года. В Ташкенте я остановился в квартире, в которой жила София Сергеевна Белецкая с моими детьми, которых она питала и воспитывала, и обучала в школах во время моей ссылки.

Первыми пришедшими ко мне с поздравлениями были четыре главных члена баптистской общины. Они держались явно смущенно, а для меня была непонятна цель их визита. Позже я узнал, что они получили телеграмму от ленинградского баптистского пресвитера Шилова, в которой он поручал им приветствовать меня как нового брата баптистов. Пришлось, конечно, разочаровать их в этом через некоего Наливайко, прежде усердного прихожанина кафедрального собора, перешедшего потом в баптистскую общину.

В это время кафедральный собор был уже разрушен, и в церкви преп. Сергия Радонежского несколько раз служил ссыльный епископ, перешедший в обновленчество во время моей ссылки.

Протоиерей Михаил Андреев, разделявший со мною тяготы ссылки в Енисейский край и дальше в Богучаны и возвратившийся незадолго до меня, требовал, чтобы я освятил Сергиевский храм после епископа, перешедшего в обновленчество. Я отказался исполнить это требование, и это послужило началом тяжелых огорчений. Протоиерей Андреев вышел из подчинения мне и начал служить у себя на дому для небольшой группы своих единомышленников.

Он неоднократно писал обо мне Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Сергию и даже ездил к нему, и сумел восстановить против меня Местоблюстителя, от которого в сентябре того же года



я получил три быстро следовавших один за другим указа о переводе меня с епархиальной Ташкентской кафедры в город Рыльск Курской области викарием, потом – в город Елец викарием Орловского епископа и, наконец, в Ижевск епархиальным епископом.

Я хотел безропотно подчиниться этим переводам, но митрополит Новгородский Арсений, живший тогда в Ташкенте на положении ссыльного и бывший в большой дружбе со мной и моими детьми, настойчиво советовал мне никуда не ехать, а подать прошение об увольнении на покой.

Мне казалось, что я должен последовать совету маститого иерарха, бывшего одним их трех кандидатов на Патриарший престол на Соборе 1917 года. Я последовал его совету и был уволен на покой в 1927 году. Это было началом греховного пути и Божиих наказаний за него. Меня как епископа Ташкентского заменил митрополит Никандр, также бывший ташкентским ссыльным.

Занимаясь только приемом больных у себя на дому, я, конечно, не переставал молиться в Сергиевском храме на всех богослужениях, вместе с митрополитом Арсением стоя в алтаре.

Весной 1930 года стало известно, что и Сергиевская Церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого, и, когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время, и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял

твердое решение: отслужить в этот день последнюю Литургию и после нее, когда должны будут явиться враги Божии, запереть церковные двери, снять и сложить грудой на средине церкви все крупнейшие деревянные иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на костре... Я не мог стерпеть разрушения храма... Оставаться жить и переносить ужасы осквернения и разрушения храмов Божиих было для меня совершенно нестерпимо. Я думал, что мое самосожжение устрашит и вразумит врагов Божиих — врагов религии — и остановит разрушение храмов, колоссальной диавольской волной разлившееся по всему лицу земли Русской.

Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткий срок. А меня в тот же день арестовали.

23 апреля 1930 года я был в последний раз на Литургии в Сергиевском храме и при чтении Евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли, что в этот же день вечером буду арестован. Так и случилось, и церковь разрушили, когда я был в тюрьме.

В своей знаменитой пасхальной проповеди св. Иоанн Златоуст говорит, что Бог не только «дела приемлет», но и «намерения целует». За мое наме-


рение принять смерть мученическую да простит мне Господь Бог множество грехов моих!

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ССЫЛКА

23 апреля 1930 года я был вторично арестован. На допросах я скоро убедился, что от меня хотят добиться отречения от священного сана. Тогда я объявил голодовку протеста. Обычно на заявления о голодовке не обращают внимания и оставляют заключенных голодать в камере, пока состояние их не станет опасным, и только тогда переводят в тюремную больницу. Меня же послали в больницу уже рано утром после подачи заявления о голодовке. Я голодал семь дней. Быстро нарастала слабость сердца, а под конец появилась рвота кровью. Это очень встревожило главного врача ГПУ, каждый день приезжавшего ко мне. На восьмой день голодовки, около полудня я задремал и сквозь сон почувствовал, что около моей постели стоит группа людей. Открыв глаза, увидел группу чекистов и врачей и известного терапевта, профессора Слоним. Врачи исследовали мое сердце и шепнули главному чекисту, что дело плохо. Было приказано нести меня с кроватью в кабинет тюремного врача, где не позволили остаться даже профессору Слоним.


Главный чекист сказал мне: «Позвольте представиться — Вы меня не знаете — я заместитель начальника Среднеазиатского ГПУ. Мы очень считаемся с Вашей большой двойной популярностью — крупного хирурга и епископа. Никак не можем допустить продолжения Вашей голодовки. Даю Вам честное слово политического деятеля, что Вы будете освобождены, если прекратите голодовку». Я молчал. «Что же Вы молчите? Вы не верите мне?» Я ответил: «Вы знаете, что я христианин, а закон Христов велит нам ни о ком не думать дурно. Хорошо, я поверю Вам».

Меня отнесли не на прежнее место, а в большую пустую больничную камеру. Загремел замок, и мне казалось, что я остался один. Но вдруг услышал глухие, все усиливающиеся рыдания и спросил: «Кто плачет? О чем плачете?» И услышал прерывающиеся рыданиями слова: "Как же мне не плакать, видя Вас? Ведь мы уже давно напряженно следим за Вашей судьбой и высоко ценим Ваш подвиг. Я член центрального комитета партии социалистов-революционеров".

Не успел он кончить, как загремел замок и в камеру вошел начальник секретного отдела ГПУ. Он сказал эсеру, что его повезут в Самарканд, где он был арестован, и там освободят. Даже опытный в делах ГПУ эсер поверил этому. Он голодал уже девятнадцатый день и дошел до того состояния расслабления воли к сопротивлению, жалости к себе и



страха смерти, которые неизбежны у долго голодающих. Его на несколько дней оставили в Самарканде и, конечно, не освободили, а увезли в Москву. Не знаю, что было дальше с ним.

Меня, конечно, тоже не освободили, вопреки честному слову «политического деятеля».

Дня два-три я получал обильные передачи от своих детей, а потом отказался от них и возобновил голодовку. Она продолжалась две недели, и я дошел до такого состояния, что едва мог ходить по больничному коридору, держась за стены. Пробовал читать газету, но ничего не понимал, ибо точно тяжелая пелена лежала на мозгу.

Опять приехал ко мне помощник начальника секретного отдела и сказал: «Мы сообщили о Вашей голодовке в Москву и оттуда пришло решение Вашего дела, но мы не можем объявить его Вам, пока Вы не прекратите голодовку». Еще теплился у меня остаток веры в слова чекистов, и я согласился прекратить голодовку. Тогда мне объявили, что я должен ехать в город Котлас не по этапу, а свободно; но и на этот раз я был обманут. Приблизительно через неделю я был отправлен по этапу и ехал в арестантском вагоне до Самары, где нас оставили в тюрьме приблизительно на неделю. Воспоминания об этой неделе остались у меня мрачные и тяжелые.

Пересадка в Москве в другой арестантский вагон и путь дальнейший до города Котласа.



В вагоне было такое множество вшей, что я утром и вечером снимал с себя все белье и каждый день находил в нем около сотни вшей; среди них были никогда невиданные мною очень крупные черные вши. В пути мы получали по куску хлеба и по одной сырой селедке на двоих. Я их не ел.

По приезде в Котлас нас поместили за три версты от него, на песчаный берег Северной Двины, в лагерь, получивший название «Макариха», состоявший из двухсот бараков, в которых целыми семьями жили «раскулаченные» крестьяне очень многих русских губерний. Двускатные дощатые крыши бараков начинались прямо от песчаной земли. В них было два ряда нар и срединный проход. Во время дождей через гнилые крыши лились в бараки потоки воды.

Однажды утром я был свидетелем того, как на срединную площадку лагеря согнали двести заключенных и после регистрации погнали на баржи, которые повел небольшой пароход по реке Вычегде, впадающей недалеко от Котласа в Северную Двину.

Пустынная Вычегда течет между дремучими необитаемыми лесами и, как я позже узнал, все отправленные на баржах были высажены в дремучем лесу в нескольких десятках верст от Котласа, им дали топоры и пилы и приказали строить избушки. Не знаю, что было дальше с ними. Вскоре меня перевели из Макарихи в Котлас и пред-

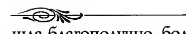


ложили вести прием больных в амбулатории, а несколько позже перевели как хирурга в котласскую больницу.

Перед самым моим переводом в Котлас в Макарихе вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Жители Котласа мне рассказали, что год тому назад в Макарихе тоже свирепствовали сыпной и другие тифы, и эпидемии чуть ли не всех детских заразных болезней. В это страшное время на Макарихе каждый день вырывали большую яму и в конце дня в ней зарывали около семидесяти трупов.

Очень недолго пришлось мне оперировать в котласской больнице, и скоро мне объявили, что я должен ехать на пароходе в город Архангельск. В первый год жизни в Архангельске я испытывал большие затруднения в отношении квартиры и был почти бездомным. Не только врачи больницы, но, к удивлению моему, даже епископ Архангельский, встретили меня довольно недружелюбно.

Мне предоставили работать по хирургии в большой амбулатории. Там я имел возможность видеть недостаточно радикально оперированных по поводу рака грудной железы женщин, и потому, когда ко мне пришла больная с раком груди, я не послал ее в больницу, а решил оперировать ее амбулаторно и сделал очень радикальную операцию. Узнав об этом, больничные врачи отправились с жалобой на меня к заведующему облздравотделом, но тот только спросил у них: «Так что же операция про-


шла благополучно, больная жива, никаких осложнений нет? Так что же еще нужно?»

Живя в Архангельске, я заметил у себя твердую бугристую опухоль, возбуждавшую подозрение о раке, и сообщил об этом начальнику секретного отдела, прося разрешения поехать в Москву для операции. Он сделал запрос в Москву, и через две недели было получено разрешение мне ехать на операцию, но не в Москву, а в Ленинград. Я был этим удивлен, но принял направление в Ленинград, как путь, указанный мне Богом.

В вагоне со мной познакомился молодой врач и по приезде в Ленинград пригласил меня в свою семью, избавив меня от затруднений в незнакомом городе.

Он повез меня далеко на Васильевский остров в большую клиническую больницу, в хирургическое отделение профессора Н. Н. Петрова, крупнейшего специалиста по онкологии. Профессор Петров отнесся ко мне с большим вниманием и сделал мне операцию. Вырезанная опухоль оказалась доброкачественной.

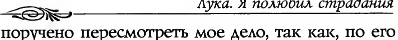
По выписке из больницы я отправился в Ново-Девичий монастырь, уже закрытый, и был весьма любезно принят митрополитом Серафимом, жившим там.

Из клиники меня провожал в монастырь мой бывший ученик по хирургии доктор Жолондзь. Мы беседовали с ним на медицинские темы, и я


был очень далек от сколько-нибудь мистических мыслей и настроений. Но вот что случилось дальше. К митрополиту я приехал в субботу, незадолго до всенощной и отправился в большой монастырский храм в самом обыкновенном настроении. Служил иеромонах, а я стоял в алтаре. Когда приблизилось время чтения Евангелия, я вдруг почувствовал какое-то непонятное, очень быстро нараставшее волнение, которое достигло огромной силы, когда я услышал чтение. Это было одиннадцатое воскресное Евангелие. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру, — «Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих?.. Паси овцы Моя...»[Ин. 21:16] — я воспринимал с несказанным трепетом и волнением, как обращение не к Петру, а прямо ко мне. Я дрожал всем телом, не мог дождаться до конца всенощной, пошел к митрополиту Серафиму и рассказал ему о случившемся. Он с большим вниманием слушал меня и сказал, что и в его жизни бывало подобное.

Еще в течение двух — трех месяцев всякий раз, когда я вспоминал о пережитом при чтении одиннадцатого Евангелия, я снова дрожал, и градом лились слезы из глаз.

Довольно скоро после моего возвращения из Ленинграда в Архангельск меня вызвал в Москву особоуполномоченный Коллегии ГПУ, и по приезде моем в Москву он в течение трех недель ежедневно беседовал со мною очень долго. Ему было


поручено пересмотреть мое дело, так как, по его словам, в Ташкенте меня судили «меднолобые дураки». Было понятно, что ему было поручено основательно изучить меня. В его словах было много лести, он всячески превозносил меня. Он обещал мне хирургическую кафедру в Москве, и было вполне понятно, что от меня хотят отказа от священнослужения.

Как я раньше говорил, перед вторым арестом я был уволен на покой Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием. Незаметно для меня, медовые речи особоуполномоченного отравляли ядом сердце мое, и со мною случилось тягчайшее несчастье и великий грех, ибо я написал такое заявление: «Я не у дел как архиерей и состою на покое. При нынешних условиях не считаю возможным продолжать служение, и потому, если мой священный сан этому не препятствует, я хотел бы получить возможность работать по хирургии. Однако сана епископа я никогда не сниму».

Не понимаю, совсем не понимаю, как мог я так скоро забыть так глубоко потрясшее меня в Ленинграде повеление Самого Господа Иисуса Христа «Паси агнцы Моя... Паси овцы Моя...»

Только в том могу находить объяснение, что оторваться от хирургии мне было крайне трудно.

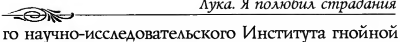
После моего заявления, копию которого я оставил митрополиту Сергию, меня не только не освободили досрочно, как это бывает с ссыльными,

вызванными к особоуполномоченному, но вернули в Архангельск и прибавили еще полгода к сроку моей ссылки.

Только в конце 1933 года я был освобожден и уехал в Москву. Господу Богу было, конечно, известно, что я затеваю новый тяжко греховный шаг, и Он предупредил меня крушением поезда, которое, к сожалению, только напугало меня, но не образумило. В Москве первым делом явился я в канцелярию Местоблюстителя, митрополита Сергия. Его секретарь спросил меня, не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр. Оставленный Богом и лишенный разума, я углубил свой тяжкий грех непослушанием Христову повелению: Паси овцы Моя — страшным ответом: «Нет».

Несколько раньше я имел намерение вернуться в Ташкент и написал об этом митрополиту Арсению, но из ответа его понял, что он вовсе не обрадуется моему приезду.

Еще до окончания моей архангельской ссылки я послал наркому здравоохранения Владимирскому письмо с просьбой предоставить мне возможность заняться в специальном исследовательском институте разработкой гнойной хирургии. На погибель себе я от митрополита Сергия отправился в Министерство Здравоохранения, чтобы лично ходатайствовать об этом. Нарком Владимирский меня не принял, а отправил к своему заместителю. Я просил заместителя об организации для меня специально-


го научно-исследовательского Института гнойной хирургии. Он очень сочувственно отнесся к моей просьбе и обещал поговорить о ней с директором института экспериментальной медицины Федоровым, который должен скоро приехать. На радость диаволу, на погибель себе, я очень обрадовался этому, но Бог, хранивший меня и направлявший мои пути, сохранил меня от гибели, ибо Федоров отказался предоставить епископу заведование научно-исследовательским институтом.

Мне некуда было деваться, но на обеде у митрополита Сергия один из архиереев посоветовал мне поехать в Крым. Без всякой разумной цели я последовал этому совету и поехал в Феодосию. Там я чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом, питался в грязной харчевне, ночевал в доме крестьянина и наконец принял новое бестолковое решение — вернуться в Архангельск. Там месяца два снова принимал больных в амбулатории. В Архангельске открывался в это время медицинский институт, и мне предложили кафедру хирургии. Я отказался и, немного опомнившись, уехал в Ташкент.

Но оставаться в Ташкенте, мешая митрополиту Арсению, нельзя было. Я опустился до такой степени, что надел гражданскую одежду и в Министерстве здравоохранения получил должность консультанта при андижанской больнице.

Там я тоже чувствовал, что благодать Божия ос-

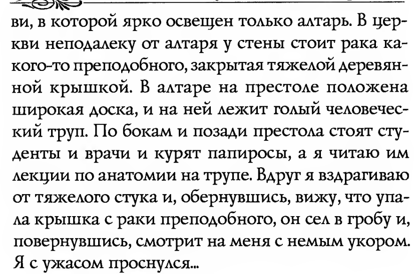


тавила меня. Мои операции бывали неудачны. Я выступал в неподходящей для епископа роли лектора о злокачественных образованиях и скоро был тяжело наказан Богом. Я заболел тропической лихорадкой Папатачи, которая осложнилась отслойкой сетчатки левого глаза.

Уехав в Ташкент, я получил заведование маленьким отделением по гнойной хирургии на двадцать пять коек при городской клинической больнице. Позже это отделение было расширено до пятидесяти кроватей.

Скоро я узнал об операции швейцарского окулиста Гопена, которой излечивались от 60 до 80 % больных отслойкой сетчатки. Эта операция получила скоро большое распространение во многих странах, и в Москве ее делал профессор Одинцов. Я оставил работу по гнойной хирургии и поехал в Москву, в клинику Одинцова. Он дважды сделал мне операцию Гопена, ибо в первый раз неточно определил все места отслойки сетчатки. Я лежал с завязанными глазами после операции, и поздно вечером меня опять внезапно охватило страстное желание продолжать работу по гнойной хирургии. Я обдумывал, как снова написать наркому здравоохранения, и с этими мыслями заснул. Спасая меня, Господь Бог послал мне совершенно необыкновенный вещий сон, который я помню с совершенной ясностью и теперь, через много лет.

Мне снилось, что я в маленькой пустой церк-



ви, в которой ярко освещен только алтарь. В церкви неподалеку от алтаря у стены стоит рака какого-то преподобного, закрытая тяжелой деревянной крышкой. В алтаре на престоле положена широкая доска, и на ней лежит голый человеческий труп. По бокам и позади престола стоят студенты и врачи и курят папиросы, а я читаю им лекции по анатомии на трупе. Вдруг я вздрагиваю от тяжелого стука и, обернувшись, вижу, что упала крышка с раки преподобного, он сел в гробу и, повернувшись, смотрит на меня с немым укором. Я с ужасом проснулся...

Непостижимо для меня, что этот страшный сон не образумил меня. По выписке из клиники я вернулся в Ташкент и еще два года продолжал работу в гнойно-хирургическом отделении, работу, которая нередко была связана с необходимостью производить исследования на трупах. И не раз мне приходила мысль о недопустимости такой работы для епископа. Более двух лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне одно за другим очень важные научные открытия, и собранные в гнойном отделении наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для написания моей книги «Очерки гнойной хирургии».

В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была


остановлена голосом из неземного мира: «В этом не кайся!» И я понял, что «Очерки гнойной хирургии» были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды.

10 февраля 1936 года скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг митрополит Арсений. С Преосвященным Арсением у меня были самые близкие и дружеские отношения. Он любил моих детей и Софию Сергеевну и часто бывал у них. Он подарил мне две свои фотокарточки, на одной из которых написал: Жертве за жертву (Флп. 2; 17), а на другой: Тобою, брат, успокоены сердца святых (Флм.1; 7). Снимался и вместе со мной. Он очень внимательно слушал мои проповеди и высоко ценил их. О себе он говорил, что исполнил все, предназначенное ему Богом, и потому ждал смерти.

ТРЕТИЙ АРЕСТ

Через год, в 1937 году, начался страшный для Святой Церкви период – период власти Ежова как начальника Московского ГПУ. Начались массовые аресты духовенства и всех, кого подозревали во вражде к советской власти. Конечно, был арестован и я. Ежовский режим был поистине страшен. На допросах арестованных применялись даже пытки. Был изобретен так называемый допрос конвейе-



ром, который дважды пришлось испытать и мне. Этот страшный конвейер продолжался непрерывно день и ночь. Допрашивавшие чекисты сменяли друг друга, а допрашиваемому не давали спать ни днем ни ночью.

Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения. У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие одна другую. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята и я ловил их. То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине извиваются змеи.

От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это ответить, конечно, не могли. Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холодной водой. Не видя конца этому допросу, я надумал напугать чекистов. Потребовал вызвать начальника Секретного отдела и, когда он пришел, сказал, что подпишу все, что они хотят, кроме разве покушения на убийство Сталина. Заявил о прекращении голодовки и просил прислать мне обед.

Я предполагал перерезать себе височную арте-

рию, приставив к виску нож и крепко ударив по спинке его. Для остановки кровотечения нужно было бы перевязать височную артерию, что невыполнимо в условиях ГПУ, и меня пришлось бы отвезти в больницу или хирургическую клинику. Это вызвало бы большой скандал в Ташкенте.

Очередной чекист сидел на другом конце стола. Когда принесли обед, я незаметно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии перерезать им не удастся. Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, начал пилить себе горло ножом. Но и кожу разрезать не смог.

Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь. Меня отвели в другую комнату и предложили поспать на голом столе с пачкой газет под головой вместо подушки. Несмотря на пережитое тяжкое потрясение, я все-таки заснул и не помню, долго ли спал.

Меня уже ожидал начальник Секретного отдела, чтобы я подписал сочиненную им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над этим требованием.

Потерпев фиаско со своим почти двухнедельным конвейером, меня возвратили в подвал ГПУ. Я был совершенно обессилен голодовкой и конвейером, и, когда нас выпустили в уборную, я упал в обморок на грязный и мокрый пол. В камеру меня принесли на руках. На другой день меня перевезли

в «черном вороне» в центральную областную тюрьму. В ней я пробыл около восьми месяцев в очень тяжелых условиях.

Большая камера наша была до отказа наполнена заключенными, которые лежали на трехэтажных нарах и на каменном полу в промежутках между ними. К параше, стоявшей у входной двери, я должен был пробираться по ночам через всю камеру между лежавшими на полу людьми, спотыкаясь и падая на них.

Передачи были запрещены, и нас кормили крайне плохо. До сих пор помню обед в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, состоявший из большого чана горячей воды, в которой было разболтано очень немного гречневой крупы.

Не помню, по какому поводу я попал в тюремную больницу. Там с Божией помощью мне удалось спасти жизнь молодому жулику, тяжело больному. Я видел, что молодой тюремный врач совсем не понимает его болезни. Я сам исследовал его и нашел абсцесс селезенки. Мне удалось добиться согласия тюремного врача послать этого больного в клинику, в которой работал мой ученик доктор Ротенберг. Я написал ему, что и как найдет он при операции, и Ротенберг позже мне писал, что дословно подтвердилось все, написанное в моем письме.

Жизнь жулика была спасена, и долго еще после этого на наших прогулках в тюремном дворе меня громко приветствовали с третьего этажа уго-



ловные заключенные и благодарили за спасение жизни жулика.

К сожалению, я забыл многое пережитое в областной тюрьме. Помню только, что меня привозили на новые допросы в ГПУ и усиленно добивались признания в каком-то шпионаже. Был повторен допрос конвейером, при котором однажды проводивший его чекист заснул. Вошел начальник Секретного отдела и разбудил его. Попавший в беду чекист, прежде всегда очень вежливый со мной, стал бить меня по ногам своей ногой, обутой в кожаный сапог. Вскоре после этого, когда я уже был измучен конвейерным допросом и сидел низко опустив голову, я увидел, что против меня стояли три главных чекиста и наблюдали за мной. По их приказу меня отвели в подвал ГПУ и посадили в очень тесный карцер. Конвойные солдаты, переодевая меня, увидели очень большие кровоподтеки на моих ногах и спросили, откуда они взялись. Я ответил, что меня бил ногами такой-то чекист. В подвале, в карцере меня мучили несколько дней в очень тяжелых условиях. Позже я узнал, что результаты моего первого допроса о шпионаже, сообщенные в московское ГПУ, были там признаны негодными и приказано было произвести новое следствие. Видимо, этим объясняется мое долгое заключение в областной тюрьме и второй допрос конвейером.

Хотя и это второе следствие осталось безрезуль-



татным, меня все-таки послали в третью ссылку в Сибирь на три года.

Везли меня на этот раз уже не через Москву, а через Алма-Ату и Новосибирск. По дороге до Красноярска меня очень подло обокрали жулики в вагоне. На глазах всех заключенных ко мне подсел молодой жулик, сын ленинградского прокурора, и долго «заговаривал мне зубы», пока за его спиной два других жулика опустошали мой чемодан.

В Красноярске нас недолго продержали в какой-то пересылочной тюрьме на окраине города и оттуда повезли в село Большая Мурта, около ста тридцати верст от Красноярска. Там я первое время бедствовал без постоянной квартиры, но довольно скоро дали мне комнату при районной больнице и предоставили работу в ней вместе с тамошним врачом и его женой, тоже врачом. Позже они говорили мне, что я едва ходил от слабости после очень плохого питания в ташкентской тюрьме, и они считали меня дряхлым стариком. Однако довольно скоро я окреп и развил большую хирургическую работу в муртинской больнице.

Из Ташкента мне прислали очень много историй болезней из гнойного отделения ташкентской больницы, и я имел возможность, благодаря этому, написать много глав своей книги «Очерки гнойной хирургии».

Неожиданно вызвали меня в муртинское ГПУ и, к моему удивлению объявили, что мне разреше-

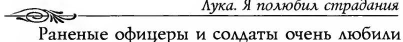


но ехать в г. Томск для работы в тамошней очень обширной библиотеке медицинского факультета. Можно думать, что это было результатом посланной мной из ташкентской тюрьмы маршалу Клименту Ворошилову просьбы дать мне возможность закончить свою работу по гнойной хирургии, очень необходимую для военно-полевой хирургии.

В Томске я отлично устроился на квартире, которую мне предоставила одна глубоко верующая женщина. За два месяца я успел перечитать всю новейшую литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и английском языках и сделал большие выписки из нее. По возвращении в Большую Мурту вполне закончил свою большую книгу «Очерки гнойной хирургии».

* * *

Наступило лето 1941 года, когда гитлеровские полчища, покончив с западными странами, вторглись в пределы СССР. В конце июля прилетел на самолете в Большую Мурту главный хирург Красноярского края и просил меня лететь вместе с ним в Красноярск, где я был назначен главным хирургом эвакогоспиталя 15-15. Этот госпиталь был расположен на трех этажах большого здания, прежде занятого школой. В нем я проработал не менее двух лет, и воспоминания об этой работе остались у меня светлые и радостные.



Раненые офицеры и солдаты очень любили меня. Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами.

В конце войны я написал небольшую книгу «О поздних резекциях при инфицированных ранениях больших суставов», которую представил на соискание Сталинской премии вместе с большой книгой «Очерки гнойной хирургии».

По окончании работы в эвакогоспитале 15-15 я получил благодарственную грамоту Западно-Сибирского военного округа, а по окончании войны был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Священный Синод при Местоблюстителе Патриаршего престола митрополите Сергии приравнял мое лечение раненых к доблестному архиерейскому служению и возвел меня в сан архиепископа.

В Красноярске я совмещал лечение раненых с архиерейским служением в Красноярской епархии и во все воскресные и праздничные дни ходил далеко за город в маленькую кладбищенскую церковь, так как другой церкви в Красноярске не было. Ходить я должен был по такой грязи, что однажды на полдороге завяз, и упал в грязь, и должен был вернуться домой.



СОБОРНЫЙ ХРАМ ТАМБОВА

Служить архиерейским чином было невозможно, так как при мне не было никого, кроме одного старика-священника, и я ограничивался только усердной проповедью слова Божия.

По окончании моей ссылки в 1943 году я возвратился в Москву, и был назначен в Тамбов, в области которого до революции было сто десять церквей, а я застал только две: в Тамбове и Мичуринске. Имея много свободного времени, я и в Тамбове около двух лет совмещал церковное служение с работой в госпиталях для раненых.

В 1946 году я получил Сталинскую премию Первой степени за мои «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов».

В мае 1946 года я был переведен на должность архиепископа Симферопольского и Крымского. Студенческая молодежь отправилась встречать меня на вокзал с цветами, но встреча не удалась, так как я прилетел на самолете. Это было 26 мая 1946 года.

На этом воспоминания обрываются. Они были продиктованы секретарю Е.П. Лейкфельд полностью ослепшим архиепископом Лукой в 1958 году в Симферополе. Архиепископ Лука умер 11 июня 1961 года и похоронен в Симферополе, где занимал кафедру в течение пятнадцати лет.



Акафист

святителю Луке, исповеднику, Архиепископу Крымскому

Кондак 1

Возбранный святителю Церкве Православныя и исповедниче, возсиявый стране нашей в земле Крымстей, яко светозарное светило, добре потрудивыйся и за имя Христово гонение претерпевый, прославляюще прославльшаго тя Господа, даровашаго нам тебе новаго молитвенника и помощника, похвальное воспеваем ти пение: ты



же, яко имеяй велие дерзновение ко Владыце небесе и земли, от всяких недугов душевных и телесных свободи нас и добре стояти в Православии укрепи, да вси во умилении зовем ти:

Радуйся, святителю Крымский исповдниче Луко, врачу благий и милостивый.

Икос 1

Ангелов собеседниче и человеков наставниче, Луко преславный, подобно Евангелисту и Апостолу Луке, емуже тезоименит сый, от Бога дар целити недуги человеческия приял еси, во врачевании Болезней ближних, многия труды подемля, и, плоть нося, о плоти нерадел еси, делы добрыми Отца Небеснаго прославил еси. Темже благодарне во умилении зовем ти:

Радуйся, от юности разум свой игу Христову покоривый.



Радуйся, пречестное Святыя Троицы селение бывый.

Радуйся, блаженство милостивых, по Слову Господа, унаследовавый.

Радуйся, верою Христовою и знанием богодарованным многия недужныя исцеливый.

Радуйся, страждущих недугами телесными врачу милосердный.

Радуйся, во дни брани вождей и воинов исцелителю.

Радуйся, всех врачев наставниче.

Радуйся, скорый в нуждах и скорбех сущим помощниче.

Радуйся, Церкви Православныя утверждение.

Радуйся, земли нашея озарение.

Радуйся, крымския паствы похвало.

Радуйся, града Симферополя украшение.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.



Кондак 2

Видя в человецех во время врачеваний, аки в зерцале, премудрость и славу Творца всяческих Бога, к Нему Духом вынну возносился еси, богомудре, светом же богоразумия твоего и нас озари, да вопием купно с тобою:

Аллилуия.

Икос 2

Разум твой Божественными ученьми просветил еси, Луко всеславне, отвергнув всяко плотское мудрование, с разумом же и волю повинул еси Господеви. Подобен Апостолом быв, тии бо по Слову Христову: «Грядита по Мне, и сотворю вы ловца человеком» оставиша вся и по Нем идоша, и ты, святе, услышав зовущаго тя на служение Господа Иисуса чрез раба Своего Архиепископа Ташкентского Иннокентия абие приемле-


ши священство в Церкви Православней. Сего ради, яко богомудраго наставника, тя ублажающе, воспеваем сице:

Радуйся, Ангела Хранителя увеселение.

Радуйся, яко того николиже опечалил еси.

Радуйся, во учении преспевавый и телу мудрецы мира сего удививый.

Радуйся, от творящих беззаконие уклонивыйся.

Радуйся, Божия Премудрости созерцателю и проповедниче.

Радуйся, истиннаго богословия златословесный учителю.

Радуйся, апостольских преданий блюстителю.

Радуйся, свеще, Богом возженная, мрак нечестия разгоняющая.

Радуйся, звездо, путь ко спасению показующая.

Радуйся, православия ревнителю.



Радуйся, раскольников обличителю.

Радуйся, свидений и оправданий Господних возжадавый.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.

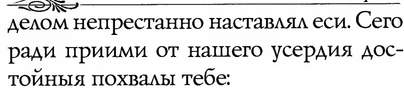
Кондак 3

Силою благодати Божия, еще ко временней жизни приял еси дар, святе Луко, недуги целити, да вси, усердно притекающии к тебе недугов телесных и паче душевных исцеления сподобляются, вопия Богу:

Аллилуия.

Икос 3

Имея неусыпное попечение о спасении душ, вверенных тебе от Бога, Луко блаженне, пастырски к душеспасительной жизни, и словом и самым


делом непрестанно наставлял еси. Сего ради приими от нашего усердия достойныя похвалы тебе:

Радуйся, Божия разуме́ исполненный.

Радуйся, благодатию Духа Святого преосененный.

Радуйся, нищеты Христовы подражателю.

Радуйся, пастырю добрый, уклоняющихся от веры православныя и блуждающих по горам суемудрия, взыскавый.

Радуйся, делателю винограда Христова, чад Божиих укрепляяй в истинной вере православней.

Радуйся, щите, защищая благочестие.

Радуйся, непоколебимое Православие основание.

Радуйся, твердый каменю веры.

Радуйся, душепагубного неверия и злотворного обновленчества обличителю и искоренителю.



Радуйся, в делании духовнем подвизающихся мудрый укрепителю.

Радуйся, от мира изгнанным пристанища тихаго указателю.

Радуйся, яко приим крест Христу последовал еси.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.

Кондак 4

Бурю внутрь имея помышлений многих, неодумеваше раб Божий, что речет о нем Господь, егда проразумеваху его достойна быти епископом граду Ташкенту: обаче всего себе Христу Богу предаде, Тому о всем благодарение возсылая, зовый: «Благословен Бог, изливаяй Бдагодать Свою на архиереи Своя». И поя ему:

Аллилуиа.



Икос 4

Слышавше людие православнии, в гонении сущии, о благоплодных добротах души твоея, богоносе Луко, и видеша на степени святительства, яко достойный сосуд Божественныя благодати, вся немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, дивятся чудному промышлению Бога о тебе и приносят ти сицевая благохваления:

Радуйся, архиерею, от Самого Господа пронареченный.

Радуйся и в надписании книги твоея сан епископа тебе предуказавый.

Радуйся, иерархов украшение.

Радуйся, пастырю добрый, яко готов был еси душу твою положити за овцы своя словесныя.

Радуйся, многосветлый Церкве светильниче.

Радуйся, Апостолов сопричастниче.

Радуйся, исповедников украшение.

Радуйся, о себе попечение всякое отвергий.

Радуйся, скорбей утолителю.

Радуйся, о людских невежествиих печальниче.

Радуйся, искавших спасения правым учением оглашавый.

Радуйся, житием твоим сего учения не посрамивый.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.

Кондак 5

Боготочною кровию от вечныя смерти искупленныя соблюдая, егда сан епископа в дни страшных гонений по благословению святаго Патриарха Тихона от рук епископов Православных приял еси, святителю Луко, дело благовестника добре сотворил еси, обличая,

запрещая, умоляя всяким долготерпением и учением и поя Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше Ангельстии чинове великия твоя подвиги, егда по заповеди Господней: «Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное», в крепости сердечней безропотно понесл еси заточение и изгнание в Сибирь за имя Господа и святую Церковь Христову, терпением велиим устрояя свое спасение, примером же своим верных души назидая. Мы же тя усердно любовию почитающе чествуем похвалами сими:

Радуйся, светильниче на свещнице церковнем поставленный.

Радуйся, яко слово Писания: «Любы долготерпит», на тебе оправдася.

Радуйся, защищати тя верным воспретивый.

Радуйся, властем повинувыйся и сего ради волею в руки воинов нощию предавыйся.

Радуйся, клевреты неправедных судей уничиженный.

Радуйся, в заточение со смирением безропотно шедый.

Радуйся, из управляемыя тобой Ташкентския епархии правды ради изгнанный.

Радуйся, верными оплаканный.

Радуйся, за Господа распятого изъязвленный и заушенный.

Радуйся, уста лживых неверов заградивый.

Радуйся, праведными устами небесныя истины и в изгнании вещавый.

Радуйся, яко мученицы на небесех о терпении твоем ликоваху.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.



Кондак 6

Проповедник немолчный тайны Пресвятыя, Единосущныя и Нераздедимыя Троицы был еси и в темнице, и во градех сибирского изгнания, терпя глад, мраз северныя страны и жестокость клевретов безбожных. Сего ради проповедует Церковь Крымская величия Божия явленныя на тебе, святителю Луко, яко приял еси дар целити недуги душевныя и телесныя и в стране изгнания, да вси единым сердцем и едиными усты, воспеваем Богу:

Аллилуия.

Икос 6

Возсиял еси, яко звезда лучезарная, красноярстей пастве и тамбовстей, озаряя души верных и разгоняя тьму нечестия и безбожия. И исполнишася на тебе слова Христовы: «Блажени есте,



егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради». Ты же, гонимый из града во град и клеветы терпя, архипастырское служение усердне исполнял и сладостию писаний твоих насыщал вся алчущия и жаждущия прдвды, иже благодарне взывают тебе:

Радуйся, наставниче всех к небеси наставляяй.

Радуйся, славы Божией истинный ревнителю.

Радуйся, воине Христов непобедимый.

Радуйся, за Христа Господа темницы и биения терпевый.

Радуйся, смирения Его истинный подражателю.

Радуйся, вместилище Духа Святаго.

Радуйся, вшедый с мудрыми в радость Господа твоего.

Радуйся, корыстолюбия обличителю.

Радуйся, пагубу тщеславия показавый.


Радуйся, беззаконники ко обращению призывавый.

Радуйся, имже сатана посрамися.

Радуйся, имже Христос прославися.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.

Кондак 7

Хотя достойно совершити подвиг, возложенный на тя от Бога, облекся еси во вся оружия Божия и стал на брань противу миродержителей века сего, духовом злобы поднебесным, препоясав чресла своя истиною и облекшись в броню правды, угасил, исповедниче Луко, вся стрелы лукаваго, поя Содетелю и Богу:

Аллилуия.

Икос 7

Новое гонение воздвиже беззакон-

ных человек и безбожных на Церковь Православную и в дальнюю таежную глубину угнаша тя, святителю Луко, и близ смерти быв, рукою Божиею сохранен, взывал с Павлом Апостолом: «До нынешнего часа и алчем, и жаждем, и наготуем, и страждем, и скитаемся... Гоними, терпим: якоже отреби миру быхом, всем попрание доселе». Сего ради, ведуще таковая, ублажаем тя:

Радуйся, исповедниче Христов блаженный.

Радуйся, мраз лютый претерпевый.

Радуйся, близ смерти бывый, Господом сохраненный.

Радуйся, самоотвержение всецелое показавый.

Радуйся, уневести́вый душу твою Жениху Христу.

Радуйся, Господа распятаго на кресте присно пред собою предзревый.

Радуйся, во бдениих и молитвах неослабно пребывал еси.

Радуйся, Единосущныя Троицы истинный ревнителю.

Радуйся, скорый от всякия Болезни Безмездный врачу.

Радуйся, ломотныя и опухлыя уврачевавый.

Радуйся, от неисцельныя гнойныя болезни костей и ран здрави возставивый.

Радуйся, яко верою твоею и трудами врачевными расслабленнии исцелеша.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.

Кондак 8

Странник во юдоли земней быв, терпения, воздержания и чистоты образ показал еси, исповедниче Луко. Любовь евангельскую явил еси, егда отечество в опасности от нашествия иноплеменник пребываше, деннонощно во врачевнице трудился, исцеляя недуги и раны



вождей и воинов отечества земнаго, непамятозлобием и любовию удивляя всех творящих ти напасти и многия сим обратил ко Христу во еже пети ему:

Аллилуия.

Икос 8

Весь, исполнь любве Христовы, Луко благосерде, душу твою полагал еси за други твоя, и яко Ангел Хранитель присущ был еси ближним и дальним, озлобленныя укрощая, враждующия примиряя и спасение всем устрояя. Поминая труды твоя во Благо людей отечествия твоего, благодарне взываем ти:

Радуйся, дивную любовь ко отечеству земному показавый.

Радуйся, смирения и незлобия учителю.

Радуйся, изгнание и жестокия муки мужемудренно претерпевый.

Радуйся, за Христа пострадавый и мучимый.

Радуйся, твердо Его исповедавый.

Радуйся, злобу врагов любови Христовою победивый.

Радуйся, отче благосердный, взыскавый спасения многих.

Радуйся, яко великими скорбями был искушаем.

Радуйся, в гонениих терпение дивное явивый.

Радуйся, яко за враги умолял еси Господа.

Радуйся, егоже любовь победи всяку вражду.

Радуйся, егоже незлобие покори жестокия сердца.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.

Кондак 9

Всем был еси вся, якоже и святый Павел, да всяко некия спасеши, святи-



телю Луко, архипастырский подвиг совершая в тамбовстем крае многими труды храмы обновляя и созидая, Уставы Святоотеческия строго соблюдая, спасению паствы твоея служити не престал еси, чисто Богови поюще:

Аллилуиа.

Икос 9

Витии человечестии не возмогут по достоянию изрещи твоих благодеяний множество, егда явился на Крымстей земли, яко отец чадолюбивый, святителю отче Луко. Щедродательная бо десница твоя всюду досязаше. Мы же благосердию твоему подражати хотяще, во удивлении взываем к тебе:

Радуйся, лучу любве Божия.

Радуйся, сокровище милосердия Спасова неисточимое.

Радуйся, яко вся своя неимущим раздавал еси.

Радуйся, ближния твоя паче себе возлюбивый.

Радуйся, безматерних сирот питателю и окормителю.

Радуйся, безпомощных старцев и стариц попечителю.

Радуйся, яко болящия и в темнице заключенныя посещал еси.

Радуйся, яко нужды бедных предварял в различных местах отечества своего.

Радуйся, яко нищия поминая, обеды им устроял еси.

Радуйся, яко коемуждо в горестех, аки Ангел утешитель являлся еси.

Радуйся, Ангеле земный и человече небесный.

Радуйся, яко о глубине милосердия твоего Мати Божия возрадовася.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.



Кондак 10

Спасению крымския паствы твоея служити многолетне не престал по образу пастыреначальника Христа на рамех заблудшее взем естество Богу и Отцу привел еси. Божиим бо милосердием утешая ко исправлению жития словесы учительными твоими влекл еси вся, во еже сердцем чистым пети Богу: ***Аллилуиа.***

Икос 10

Царя Небеснаго Христа Бога верный служителю быв, святителю отче Луко, неустанно возвещал слово истины во всех храмах земли нашея Таврическия, душеспасительною пищею учения евангельского верныя чада научая и Устав Церковный строго исполняти повелевая. Темже тя, яко пастыря добраго, сице прославляем:



Радуйся, неутомимый проповедниче правды евангельския.

Радуйся, яко Богом врученное тебе стадо словесное добре пасый.

Радуйся, яко овцы своя словесныя от душегубных волков охранявый.

Радуйся, чина церковного строгий блюстителю.

Радуйся, чистоты веры православныя охранителю.

Радуйся, тобою во Дух Святый написа словеса спасительныя.

Радуйся, яко тайну богословия о духе, душе и теле явил еси нам.

Радуйся, яко слово твое, аки в ризы позлащены, тайны веры одеяшася.

Радуйся, молние, гордыню низлагающеая.

Радуйся, громе, беззаконно живущия устрашаяй.

Радуйся, церковного благочестия насадителю.



Радуйся, архипастырю, пастыри духовныя наставляяи и вразумляяй непрестанно.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.

Кондак 11

Пение у гроба твоего, угодниче Божий, не умолкаше во днех блаженнаго успения твоего. Мнози бо ведяху тя богоносна и равноангельна суща собрашася от всех предел земнаго твоего отечествия совершити соборное моление о душе твоей восходящия в горния обители отечествия небеснаго, воспевая и поя Богу:

Аллилуиа.

Икос 11

Свеща еси в церкви Христовой, го-

рящая невещественным светом благодати Божией был еси, святителю Луко, вся концы земли нашея озаряя. Егда же приспе время отшествия твоего, Божественнии Ангели прияша святую душу твою, и в небесныя обители вознесоша. Темже, поминающе блаженное успение и велие твое на небеси и на земли прославление, с радостию приносим ти благохваления сия:

Радуйся, светильниче немеркнущий Света Невечерняго.

Радуйся, яко мнози прославиша чрез твои добрыя дела Отца Небеснаго.

Радуйся, яко свет добрых дел твоих просветился пред человеки.

Радуйся, яко мнози прославиша чрез твои добрыя дела Отца Небеснаго.

Радуйся, угодниче Божий, течение благочестне скончавый.

Радуйся, веру, надежду и любы от Господа стяжавый.



Радуйся, со Христом, Его же возлюбил еси, на веки соединивыйся.

Радуйся, Царствия Небеснаго и славы вечныя наследниче.

Радуйся, архиерею, от вечного Архиерея Христа благодатными дарами исполненный.

Радуйся, скорый помощниче призывающим тя.

Радуйся, земли Крымския новое светило и утверждение.

Радуйся, рода христианскаго благодатный покровителю.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.

Кондак 12

Благодать свыше ти данную познавше, благоговейно лобызаем честнаго лика твоего изображенне, святителю Луко, чающе тобою получити просимое


от Бога. Темже припадая ко святым мощем твоим со умилением молим тя: Укрепи нас добре стояти в вере православней и угождающе благими делы немолчно пети Богу:

Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Бога, дивнаго во святых Своих, хвалим тя, Христова исповедника, святителя и предстателя пред Господем. Весь бо еси в вышних, но и нижних не оставляеши, святителю отче Луко, присно со Христом царствуеши и о нас грешных пред престолом Божиим ходатайствуеши. Сего ради во умилении зовем ти:

Радуйся, света неприступнаго зрителю.

Радуйся, емуже сорадуются Ангелы, и о нем же веселятся человецы.

Радуйся, научивый заповедем Христовым и сотворивый я.



Радуйся, яко достоин явился еси Царствия Небеснаго.

Радуйся, путем исповедничества райских селений достигший.

Радуйся, поношения Христа ради терпевый и вечную с Ним славу приявый.

Радуйся, души наша к Царствию Небесному путеводяй.

Радуйся, предстателю пред Престолом Божиим за нас грешных.

Радуйся, Православия похвало и земли нашея радование.

Радуйся, в сонме святых быти сподобивыйся.

Радуйся, Собору всех Крымских святых сопричастниче.

Радуйся, святителю Крымский исповедниче Луко, врачу благий и милостивый.



Кондак 13

О великий и преславный угодниче Божий, святителю отче наш Луко, приими сие похвальное пение от нас недостойных, обаче с любовию сыновнею тебе приносимое. Предстательством твоим у Престола Божия и молитвами твоими всех нас в вере православней и добрых делех утвержди. От всяких бед, скорбей, болезней и напастей в сей жизни находящих сохрани, от мучений в будущем веце избави. И сподоби в вечней жизни купно с тобою и со всеми святыми пети Творцу нашему:

Аллилуиа.

Сей Кондак глаголи трижды.

(А по сем читается Икос 1 и Кондак 1)



МОЛИТВА
святителю Луке, исповеднику, Архиепископу Крымскому

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов! Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чадо отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбцу Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего да утвердит во святей своей Православней Церкви дух правыя веры и благочестия:

пастырям ея да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противная обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское и святое благословение, да тобою осеняеми избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов.

Даруй нам богоугодно прейти по-



прище временной жизни, настави нас на путь, ведущий в селения праведных, избави нас воздушных мытарств и моли о нас всесильнаго Бога, да в вечней жизни с тобою непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Оглавление

Тираж 5000 экз. Заказ № 2357.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ЗАО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь
www.pareto-print.ru




ОБРАЗ
ИЗДАТЕЛЬСТВО